

Э. А. К. Васянский

ИММАНУИЛ
КАНТ

В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ЖИЗНИ

Сведения о его характере и домашнем быте, почерпнутые из повседневного общения с ним Э. А. К. Васянским, диаконом Трагхаймской церкви в Кёнигсберге

Калининград • 2019

УДК
ББК
В

Васянский, Э. А. К.

Иммануил Кант в последние годы жизни / Э. А. К. Васянский; пер.
с нем. А. И. Васкиневич, - Калининград 136 с., 8 л. ил. тир. 1000
экз. ISBN 978-5-6043169-1-7

УДК
ББК

- © Freunde Kants und Königsbergs e.V., 2019
- © Анжелика Васкиневич (русский перевод текста книги), 2019
- © Светлана Колбанёва (русский перевод предисловия), 2019
- © Генрих Вольф - автор рисунка на обложке

ISBN 978-5-6043169-1-7



Ограничение по возрасту:



КАНТ, КАК ЖИТЕЛЬ НАШЕГО ГОРОДА

Каким был Кант, где он жил, да и был ли он? Что мы можем узнать о нём из его обширных научных трудов? Да и можно ли судить о его жизни в Восточной Пруссии XVIII века, о нём самом, как о человеке из его учёных трудов. О личности актёра нельзя судить по созданному им образу героя пьесы, а о философе по его книгам? Безусловно, задача эта сложная. На помощь приходят записки современников Иммануила Канта. Однако, они скудны, только крупинки для составления мозаики длинной жизни философа. Но вот его последние годы подробно и добросовестно описаны пастором Васянским в записках, которые предлагаются вашему вниманию. Достоин сожаления, что в более молодые и активные годы у Канта не было столь добросовестного биографа.

В мире нет другого города, так тесно связанного с жизнью и деятельностью великого человека, как наш город и Кант. Кто мог бы стоять в одном ряду с нашим городом: Коперник и Торунь - но деятельность и жизнь астронома протекала в других городах; Моцарт и Вена – но родился и рос композитор в Зальцбурге; Достоевский и Петербург – но писатель родился и прожил первые 16 лет в Москве; Ньютон и Лондон – но жизнь гениального физика и математика прошла в разных местах Англии; Шопен и Варшава – но творил великий поляк в Париже. Историческая, культурная и метафизическая ткань нашего города пронизана духом Канта.

Иммануил Кант и его учение с конца XVIII века глубоко вошли в культурную и научную жизнь России.

Ни один крупный российский, советский философ не обошёл своим вниманием Канта. Так же обстоит дело с учёными, работающими в смежных областях: социологии, культурологии, этики, эстетики, этологии и даже астрофизики и космологии. В завершении книги приведён колоритный фрагмент из записок русского историка Карамзина о Канте и Кёнигсберге, в котором Кант предстаёт не только, как учёный, но и как хозяин, радушно принимающий у себя дома без всяких рекомендаций совсем молодого русского путешественника.

Приближается трёхсотлетие Канта. В 2024 году весь мир будет отмечать юбилей философа и у нас есть прекрасная возможность добавить новых красок во всепланетный образ города. Эта возможность большая, чем игры чемпионата мира по футболу в нашем городе. В Калининграде уже почти 15 лет существует сообщество граждан, продолжающее двухсотлетнюю традицию встреч друзей Канта за обеденным столом. В 2008 году в Берлине начало активную деятельность международное общество друзей Канта и его города. Несмотря на прошедшие столетия, труды Канта не стали пыльной историей, а продолжают оставаться в центре научного и публичного диспута. Невозможно представить, чтобы сегодня физики спорили о законах Ньютона, но труды философов остаются актуальными и через века. Труды Канта и его образ, уже давно ставший мифом, являются достоянием не только учёных, но и простых жителей города. Кантовский юбилей станет важнейшим событием ближайшего пятилетия не только для философов, но и для всех гостей и горожан, именно таким читателям и предназначена эта книга.

*Председатель общества «Друзей Бобового короля»
Борис Бартфельд*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор этой книги, Эреготт Андреас Кристоф Васянский¹ родился 3 июля 1755 года в Кёнигсберге. Он учился в «Фридрициануме», который закончил и Иммануил Кант, частной пиетистской школе, основанной в 1698 году Теодором Геером. В то время она находилась в кёнигсбергском предместье Закхайм. В 1701 году прусский король Фридрих I в честь своей коронации пожаловал школе звание «королевской».

Семнадцатого сентября 1772 года Васянский начал изучать теологию в Кёнигсбергском университете «Альбертина». Во время учёбы ему довелось посещать лекции Канта. В 1786 году Васянский был рукоположен в диаконы, а в 1808 году стал пастором Трагхаймской церкви. Он умер в Кёнигсберге 17 апреля 1831 года. В церкви, где он служил, находился его портрет, но и картина, и сама церковь погибли во время налётов британской авиации и бомбардировки Кёнигсберга в августе 1944 года.

Вскоре после смерти Иммануила Канта, скончавшегося 12 февраля 1804 года, в Кёнигсберге были опубликованы три его биографии, написанные его бывшими учениками:

«Описание жизни и характера Иммануила Канта» («Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants»), автор Людвиг Эрнст Боровский²,

1 Ориг. Ehregott Andreas Christoph Wasianski, в российской литературе встречаются также варианты написания фамилии – Васянки, Васянский, Васианский.

2 Ludwig Ernst Borowski.



«Иммануил Кант, обрисованный в письмах к другу» («Immanuel Kant geschildert in Briefen an einen Freund»), автор Рейнгольд Бернхард Яхманн³, «Иммануил Кант в последние годы жизни» («Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren»), автор Эреготт Андреас Кристоф Васянский⁴.

Васянский разделил с Кантом последние годы его жизни и до самой его смерти самоотверженно о нём заботился. У Канта не было более близкого человека, чем он. Двадцать второго апреля 1805 года доктор Вильям Мотерби пригласил его на учредительное собрание общества друзей Канта. До самой своей смерти в 1831 году Васянский оставался досточтимым членом этого союза.

В наши дни международное общество «Друзья Канта и Кёнигсберга» (www.freunde-kants.com) возрождает традиции того самого старинного кёнигсбергского общества друзей Канта в нынешнем Калининграде. По инициативе этого общества кантовская биография, написанная Васянским, была переведена на русский язык. Перевод выполнила доцент Балтийского федерального университета им. И. Канта Анжелика Васкиневич. Благодаря помощи журналиста Владислава Ржевского этот перевод был напечатан в газете «Калининградская правда» в виде серии публикаций в период с 15 октября по 16 декабря 2011 года. В 2013 году по инициативе Игоря Одинцова, первого директора Кафедрального собора, а также при поддержке профессора Ирины Кузнецовой и калининградской региональной общественной организации «Кантовский фонд» перевод был опубликован отдельным изданием (двуязычное издание, включающее тексты на русском и немецком языках). Книга вышла в издательстве БФУ имени Канта.

³ Reinhold Bernhard Jachmann.

⁴ Ehregott Andreas Christoph Wasianski.



Когда выяснилось, что тираж распродан, общество «Друзья Канта и Кёнигсберга» совместно с калининградским обществом «Друзья Бобового короля» приняли решение переиздать русский перевод биографии Канта, написанной Васянским. Для нового издания текст был существенно переработан. Чтобы современному читателю было проще представить себе, как складывались повседневные отношения между Кантом и его биографом, в это издание включены тексты двух писем философа, адресованных его ученику и другу, а также ответное письмо Васянского.

Кроме того, во второе издание включён фрагмент из «Записок русского путешественника» Николая Карамзина, который в 1789 году посетил Канта в Кёнигсберге. Из его сообщения становится понятно, сколь значителен уже в то время был Кант в России и по всей Европе. В июле 1794 года Российская академия наук в Санкт-Петербурге избрала его своим членом. Васянский в своей книге описывает случай, как в 1803 году (последний год жизни философа) Канта посетил молодой русский врач, желавший выказать ему своё почтение (см. стр. 90 данной книги).

Жители Калининграда, которые сегодня населяют родной город Иммануила Канта, видят в нём своего земляка. Кант был и остаётся неотделим от своего города. Российский историк философии Арсений Гулыга, также написавший биографию И.Канта, предпослал ей такие слова: «По традиции мы начнём жизнеописание Канта с истории его города. Гранитом этого города как бы выложены строгие конструкции философа, воздухом дышат его живые творения...»

В 1724 году в ходе административной реформы три древних города, Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф, стали единым Кёнигсбергом. В этом же году родился Иммануил

Кант. Соответственно, в грядущем 2024 году мы будем праздновать 300-летие обоих этих знаменательных событий. Планируется продолжить перевод на русский язык и издание книг о Канте и о Кёнигсберге. Мы надеемся, что благодаря этому история города и образ его величайшего сына станут ближе и понятнее нынешним калининградцам.

Васянский открывает для нас своего учителя не только как великого учёного, но и как достойного, любезного человека. Кантовскую биографию авторства Васянского можно рассматривать как учебник практической философии жизни. Двадцать второго апреля 2024 года, в трёхсотый день рождения Канта, граждане города, в котором он родился, разделят радость торжества с бесчисленными гостями со всего света – с теми, кто испытывает потребность в знакомстве с местом, где Кант родился, жил и творил.

Пусть эта книга, переиздание биографии Канта авторства Э.А.К. Васянского, послужит вступительным аккордом к предстоящему всемирному празднику – 300-летию со дня рождения Иммануила Канта.

Благодарю за помощь в подготовке публикации Анжелику Васкиневич, Светлану Колбанёву, Андрея Портнягина, Игоря Одинцова, проф. Ирину Кузнецову, Владислава Ржевского и Бориса Бартфельда.

Калининград/Кёнигсберг, 29 августа 2019 года

Герффрид Хорст

Председатель общества «Друзья Канта и Кёнигсберга»

www.freunde-kants.com

www.facebook.com/freundekants

Перевод Светланы Колбанёвой



Иммануил Кант, штатный университетский преподаватель логики и метафизики в Кёнигсберге, заслужил признание не только своей эпохи – он останется незабвенным среди будущих поколений и, бесспорно, прочно займёт своё место в списке великих людей. В каком бы качестве его ни рассматривали: как учёного, овладевшего богатством знаний по многим предметам из разных научных сфер или как самобытного мыслителя, оставившего после себя множество основательных трудов; или как человека, обладавшего поистине благородным, великодушным, человеколюбивым и, вместе с тем, скромным характером; или, наконец, как друга и собеседника, отличавшегося тонким, любезным, приятным, заинтересованным и гуманным обращением с людьми – для каждого, кто не ослеплён завистью и самолюбием и кто не введён в заблуждение враждебностью и субъективным пристрастием, он останется объектом восхищения и почитания. Что касается его роли учёного и мыслителя, то не будет недостатка в людях, которые опишут его заслуги в этой сфере. Всё великое восхищает, неодолимо влечёт к себе любого, осознающего суть истины и блага, побуждает его с благосклонностью задерживаться перед выдающимися и исключительными предметами, не замыкая в себе самом возникшие ощущения; душа, полная впечатлений, жаждет



ими поделиться и щедро и охотно отдаёт всё воспринятое ею для того, чтобы привлечь единомышленников. Несомненно, это верно и применительно к Канту, интерес к которому был столь велик, что биография его появилась ещё при жизни; мне сложно судить, мог ли Кант быть доволен ею, нашли ли его почитатели в ней то, чего желали. Однако все его друзья знают, что известие о ней вызвало его негодование.

Характеризуя Канта как учёного и самобытного мыслителя, вряд ли следует всерьёз опасаться, что образ его окажется искажённым, ведь его сочинения являются богатым источником, из которого биограф может черпать сведения. И если он хорошо знаком с предметом, которому Кант себя посвятил, если он сам стремится исследовать первопричины человеческого знания, если он и сам является самобытным мыслителем, если он достаточно беспристрастен, чтобы по достоинству оценить заслуги Канта, если он знает предшествовавшие труды эпохи, во время которой происходило становление Канта, и если он в состоянии оценить масштабы человеческого знания, тогда можно не опасаться, что образ великого учёного и самобытного мыслителя получится неудачным. Совсем иначе обстоит дело с характером, образом мыслей и поведением необыкновенного человека и писателя. Его сочинения содержат часто лишь незначительные проявления этих качеств, а кто может поручиться за то, что разум и сердце не находились в споре? Кто не знает, что писатели часто превосходно изображают нечто благое, однако сами при этом совершают дурные поступки? Загадка человеческого характера может быть разрешена лишь после тщательного, беспристрастного, а вернее всего, после ежедневного наблюдения за его изменчивыми настроениями и мельчайшими особенностями его



привычек. Самые, казалось бы, незначительные детали могут представить человека в истинном свете и указать на его оригинальность. Между тем, отдельных высказываний часто недостаточно, и только их совокупность позволяет вынести окончательное, решающее суждение. А разве для этого не требуется более близкого и длительного знакомства, более доверительного общения, которое даётся не каждому? Надо видеть поступки человека не только в тех ситуациях, когда он знает, что за ним наблюдают, но и тогда, когда он думает, что свидетелей нет, и без оглядки на них предаётся естественным устремлениям своего сердца. Насколько сужается тогда круг тех, кто с достоверностью может сказать что-либо о характере необыкновенного человека!

Именно так обстоит дело, когда речь идёт о Канте, что отчасти видно из анекдотов, появлявшихся там и сям в печати ещё при его жизни и слишком явно искажавших его образ, потому что их черпали из ненадёжных источников, или рассказчик привносил в них собственные фантазии, мнения и образ мысли. В таких характеристиках Канта и в будущем не будет недостатка, и весьма вероятно, что мир учёных будет ещё озадачен изрядным их количеством. Опасаясь подобных явлений и побуждаемый желанием ряда друзей прочитать нечто более достоверное о последних годах жизни Канта, изложенное каждодневным очевидцем, я решил взяться за перо. Раньше я и не помышлял об этом. Но когда о великом человеке в последние дни его жизни стали распространяться всякого рода противоречивые слухи, которые в какой-то степени умаляли его заслуги и вынуждали меня к устным опровержениям, стало очевидно, что для меня, человека, хорошо его знавшего,



является неременной обязанностью в письменной форме изложить свои наблюдения, рассказать о своём опыте и тем самым предотвратить появление некоторых заметок, которые могли бы ввести в заблуждение даже почитателей Канта. Разве не обидело бы всех его друзей, если бы человеческие слабости великого человека были описаны некомпетентными торговцами анекдотами, пятнающими чистоту его души и безупречность характера? Разве отважился бы себялюбивый остряк с ехидным злорадством подступиться к мёртвому льву, если бы опасался, что кто-то другой, кто гораздо точнее наблюдал и лучше знал Канта, может разоблачить голословность его утверждений?

Возможно, изображение Канта в домашней обстановке, в узком кругу близких людей, как хозяина в обращении с прислугой и даже как уже немощного старца, может дать повод для некоторых антропологических и психологических размышлений. Кроме того, я знаю по опыту, что, особенно люди проезжие, настойчиво осведомлялись о малейших его привычках и домашнем распорядке. Всё это, смею надеяться, станет оправданием мне, когда я буду описывать этого человека, сыгравшего главную роль на большой сцене научного мира и снискавшего аплодисменты почтенной публики, без прикрас, хвастовства и блеска обнажая его человеческую сущность. По крайней мере, я могу не опасаться, что его появление в домашнем одеянии обернётся ему во вред, поскольку он был любезен в любом платье. Несомненно, найдутся те, кто хотел бы знать Канта не только по его сочинениям, но и поближе, увидеть его и с другой стороны, чтобы познакомиться с ним не только как с великим учёным, но и как с человеком с присущими ему человеческими качествами. Художник,



желающий верно запечатлеть черты оригинала, наблюдает одно и то же явление в разных ситуациях и положениях, не упускает при этом из виду также и теневую сторону, чтобы изобразить всё правильно, а не представить взору лишённую тени отвратительную «китайскую картину» или, слишком насыщенно нанося один и тот же цвет, окрасить своё живописное произведение в чересчур тёмные и мрачные тона.

У Канта, как и у любого человека, тоже была своя теневая сторона, свои слабости, которые, тем не менее, не могли и не смогут отнять у его светлых сторон их ясности и очевидности. Большинство из них были не его виной, а следствием человеческой природы при достижении глубокой старости, медленному, но непреклонному наступлению которой не могли воспрепятствовать ни сила его духа, ни высокий уровень его образования, ни даже его душевная доброта. Восемьдесят лет странствовал он по своему жизненному кругу, неудивительно, что он возвратился, наконец, к тому пункту, из которого вышел! Он, распространявший лучи света, даже в слабости сохранял свой блеск – как солнце при затмении, когда кажется, что оно его утратило, – и не терял его, как теряет свой поддельный мерцающий свет убывающая луна. Не претендуя на то, чтобы стать биографией Канта, не стремясь поставить под сомнение другие его биографии, эти страницы призваны ограничиться лишь тем, чтобы представить факты, которые другие, при всей пронизательности, искусности и образованности, не могут точно знать, или о чём они, руководствуясь своими соображениями о чести биографов, желают умолчать. Учёному предмет моего рассказа может показаться неинтересным, зато многие из друзей Канта, не видевшие его в последние годы жизни, и значительная



часть публики настоятельно желают, чтобы не были утрачены даже детали, кажущиеся незначительными. И если какой-нибудь биограф, самоотверженно пожертвовавший долей своего высокого искусства, решился бы изложить особые обстоятельства, мелкие привычки и высказывания Канта, – где бы он их нашёл, если бы ему не предоставил их некто, кто был с Кантом на дружеской ноге, каковая возможность представилась мне в последние годы его жизни.

Именно с этой точки зрения я и прошу оценивать эти страницы. Их ценность состоит в чистейшей и неподдельной правде, от которой я не отойду ради прикрас и преувеличений, поскольку буду тщательно следить, чтобы ложь не закралась в них вопреки моему желанию. Кроме того, я пишу на глазах у людей, часть из которых еженедельно, а кто-то и чаще, наблюдали за моим героем своим зорким оком, и от порицания которых не ускользнули бы неверные утверждения. Но даже они знают, что отдельные высказывания Канта в последние годы его жизни и в другое время различались, и что мне он рассказывал некоторые вещи, которые от других скрывал.

Можно было бы сделать эти страницы занимательнее, попытавшись приукрасить или преувеличить то или иное обстоятельство в какой-либо истории о Канте. И всё же увлекательность должна всегда уступать правде, и лучше пусть отсутствует первая, нежели последняя, даже если эта строгая необходимость сообщить правду заставит меня нарушить мою тихую уединённость и раскрыться перед публикой в большей степени, чем я бы того желал.

О некоторых благородных чертах, свойственных сердцу Канта, о некоторых его благосклонных высказываниях в



мой адрес никто бы так и не узнал, если бы я из излишней скромности не упоминал о себе самом. Но было бы неверно истолковывать такие случаи как проявления тщеславия и мелочного стремления связать своё имя с великим человеком, чтобы вследствие этого получить долю его известности. Я далёк от подобных целей. Кант даровал мне своё доверие. Был ли я достоин такой чести, сделал ли я то, что обязан был сделать при таких обстоятельствах, в таком положении, имея счастье состоять с ним в таких отношениях, – об этом вынесут свой вердикт друзья Канта, ныне ещё живущие. Судя по известным мне до сих пор высказываниям, я могу рассчитывать на их одобрение, поскольку я выслушивал их мнения о моей работе и добросовестно и с благодарностью следовал их советам и предложениям по её усовершенствованию.

А теперь перейдём к делу. Первый вопрос: как я оказался рядом с Кантом?

Наше знакомство началось не в последний период его жизни, и тому, что между нами установились доверительные отношения, предшествовало более десятка лет. В 1773 или 1774 году (точно не помню) я стал его слушателем, а позднее – его секретарём; благодаря последнему обстоятельству у него со мной установились затем более близкие отношения, чем с другими слушателями. Он разрешил мне безвозмездно посещать его лекции, хотя я и не обращался к нему с такой просьбой. В 1780 году я покинул академию и стал проповедником. Несмотря на то, что я остался в Кёнигсберге, мне казалось, что в моем новом облачении я не то чтобы был совсем забыт Кантом, но, во всяком случае, был лишён общения с ним. В 1790 году я снова встретился с ним на свадьбе у одного из здешних профессоров. За столом Кант общался со всеми гостями; а когда после трапезы каждый выбирал себе



собеседника, он по-дружески подсел ко мне, с большим знанием дела заговорил со мной о моём тогдашнем пристрастии – цветоводстве, и продемонстрировал, к моему изумлению, полное знание моего тогдашнего положения. При этом он вспомнил прежние времена, благосклонно выразил мне свою поддержку в том, что я был доволен своими жизненными обстоятельствами, а заодно и желание, чтобы я иногда, по его приглашению, заглядывал к нему на обед, если мне будет позволять время. Когда он вскоре после этого собрался уходить, то предложил мне, поскольку нам было по пути, проехаться с ним до дома. Я принял это приглашение, проводил его, был зван к нему на следующей неделе и сразу должен был назначить день недели, наиболее удобный для меня, чтобы принимать его приглашения в дальнейшем. Для меня было непостижимым такое обходительное обращение Канта со мной. Поначалу я предполагал, что кто-то из моих добрых друзей рассказал ему про меня больше хорошего, чем я того заслуживаю; но дальнейший опыт общения с ним показал, что он часто справлялся о здоровье своих бывших слушателей и искренне радовался, когда у них всё было благополучно. Так, и меня он тоже не совсем забыл.

Это возобновлённое знакомство с ним пришлось на то время, когда он изменил распорядок своей домашней жизни. До этого он ел за табльдотом; теперь он начал вести собственное домашнее хозяйство и каждый день приглашал двух своих друзей, а в случае небольшого праздника – пятерых, поскольку строго следил за правилом, согласно которому общество за обеденным столом, включая его самого, должно быть не меньше количества граций и не больше количества муз. Вообще, в устройстве его хозяйства, особенно в том, что касалось стола, было нечто своеобразное, оригинальное и местами



отличное от будничного этикета и принуждённости обычных светских условностей, при этом без пренебрежения манерами, что подчас случается в обществе, где отсутствуют дамы. Когда еда была готова, в комнату, размеренно открывая дверь, входил Лампе со словами: «Суп подан». Все спешили последовать приглашению к столу, и привычная беседа о погоде в тот день, начатая по дороге к столовой, продолжалась и в начале трапезы. О важнейших событиях дня, о победах и даже о заключении мира не принято было разговаривать ранее, чем садились за стол. Кант обходился с предметами беседы бережливо и хотел, чтобы их обсуждали по очереди, один за другим. В его рабочем кабинете никогда не велись разговоры о политике. Но как только Кант садился за стол, то был очень рад кушаньям и беседе после длительной и напряжённой работы, что было по нему весьма заметно.

Его слова «Итак, господа...», произносимые, когда он садился на стул и брал салфетку, были явным примером того, что труд – лучшая приправа для кушаний. На столе всегда стояли три блюда, небольшой десерт и вино. Каждый сам накладывал себе пищу, и когда кто-то пытался, как говорится, «поухаживать» при этом друг за другом, Кант чувствовал такую неловкость, что почти каждый раз из скромности порицал это. Ему было неприятно, когда кто-то мало ел, и он считал это жеманством. Тот, кто первый принимался за блюдо, был для него самым приятным гостем, потому что тогда очередь класть себе кушанья быстрее доходила до него. При этом он стремился, чтобы начало трапезы не затягивалось, так как он работал с раннего утра и до самого обеда ничего не ел. Поэтому в последнее время Кант, скорее из-за своего рода недомогания, чем от голода, едва мог дожждаться часа, когда приходил последний гость.



День обедов у него был для его сотрапезников праздником. Приятные назидания, при коих он, однако же, не придавал себе вид учителя, с пользой услаждали трапезу, и время от часа дня до четырех-пяти часов, а порой и дольше, пролетало, не вызывая ни малейшей скуки. Он не терпел затишья, или, как он выражался, штиля, называя этим словом те редкие моменты, когда разговор становился менее оживлённым. Он всегда умел завязать общую беседу, замечал пристрастия каждого и с участием говорил о них. Происшествия в городе должны были быть поистине необычайными, чтобы о них упомянули за его столом. Почти никогда беседа не имела отношения к предметам критической философии. Он не испытывал нетерпимости к тем, кто не разделял его интереса к научным занятиям, как это, пожалуй, случается с некоторыми другими учёными. Его беседы были настолько доступны, что посторонний человек, читавший его труды, но лично с ним не знакомый, едва ли мог бы сделать вывод из разговора, что его собеседник действительно Кант. Если разговор касался предметов физиологии, анатомии или обычаев некоторых народов и при этом упоминались вещи, которые по легкомыслию могли быть восприняты в значении непристойном, то о них говорилось с серьёзностью, выдававшей, что не только в себе самом, но и в своих сотрапезниках считал он несомненной предпосылкой «*Sunt castis omnia casta*»⁵.

При выборе сотрапезников он, помимо обычных правил, непременно учитывал и два других. Во-первых, чтобы внести разнообразие в беседу, приглашал людей разных профессий: посольных, профессоров, врачей, священнослужителей, образованных торговцев, а также молодых студентов. Во-вторых, все его гости были моложе, чем он сам, часто даже значительно моложе.

⁵ Лат.: чистым всё чисто.



При этом он руководствовался двойным соображением: те, кто были в расцвете сил, приносили в общение оживление и радостное расположение духа, к тому же это позволяло уберечь себя, насколько возможно, от тоски по тем, к кому он привык, и кто раньше уйдёт из этой жизни. Ибо, когда друзья его опасно заболели, он так волновался, настолько сильно о них беспокоился, что иногда казалось, будто он не сможет вынести их смерти. Он часто справлялся об их здоровье, с нетерпением ожидал кризиса болезни, и это даже отвлекало его от работы. Но как только они умирали, он проявлял спокойствие, можно было бы даже сказать – безразличие. Жизнь в целом, а особенно болезнь, он рассматривал как постоянное изменение и неустанно справлялся о людях, поскольку это было не напрасно, смерть же он рассматривал как перманентное состояние, о котором достаточно одной вести, ведь изменить что-либо уже невозможно. И тогда он спокойно продолжал работать, потому что все его тревоги исчезали. Невзирая на описанные правила и меры предосторожности при выборе собеседников, смерть всё же разлучала его с некоторыми из них. Особенно сильно повлияла на него, несмотря на всю его сдержанность, утрата инспектора Эренбота, молодого человека с проницательным умом и подлинной широчайшей эрудицией, которого он крайне высоко ценил.

Предметы бесед выбирались по большей части из сфер метеорологии, физики, химии, естествознания и политики, но в особенности остро обсуждались события дня, о которых сообщалось в газетах. Новостям, где не указывались время и место события, он не доверял, как бы правдоподобно они ни звучали, и не считал нужным даже упоминать о них. Его глубокая проницательность



в вопросах политики позволяла видеть подоплёку событий, так что иногда казалось, что слушаешь известное дипломатическое лицо, хорошо знакомое с тайнами кабинетов. Во время французской революции он выдвигал некоторые предположения, в том числе парадоксальные, особенно в отношении военных операций, которые сбывались так же точно, как и его великое предположение, что между Марсом и Юпитером в планетной системе находится не пустое пространство, в чем он смог убедиться, когда Пиацици из Палермо была обнаружена Церера, а Д.Ольберсом из Бремена – Паллада. Эти открытия произвели на него сенсационное впечатление, он часто и много о них говорил, не упоминая при этом, однако, того, что он о том уже давно догадывался. Поразительным было его мнение о том, что у Бонапарта не могло быть намерения высадиться в Египте. Он восторгался искусством, с которым тот скрывал свое истинное намерение высадиться в Португалии. В связи с большим влиянием Англии на Португалию он рассматривал эту страну как английскую провинцию, после завоевания которой Англии мог бы быть нанесён чувствительный удар, поскольку прекратился бы ввоз в Португалию английских текстильных изделий и вывоз оттуда портвейна, этого незаменимого излюбленного напитка англичан. Привыкнув устанавливать некоторые факты априори, он оспаривал высадку в Египте даже тогда, когда газеты сообщили о ней как об успешно состоявшейся, и считал это предприятие политически весьма неразумным и недолговечным. Его друзья были достаточно уступчивы, чтобы не противоречить, и успех всей экспедиции был для него известным утешением. Велись дебаты о новейших изобретениях и событиях, тщательно взвешивались аргументы за и против, что



делало беседу за столом поучительной и приятной. Но Кант проявлял себя не только как интересный собеседник, коим он был, в особенности, в ранние годы, но и как любезный и либеральный хозяин, который не знал большей радости, чем та, когда его гости весело и бодро, насытив дух и тело, покидали стол после сократической трапезы.

Сразу после обеда Кант, как правило, совершал моцион, столь необходимый для здоровья при сидячем образе жизни. Однако он намеренно никогда не брал компаньона для прогулки. Из двух имевшихся на то причин одну угадать проще, нежели другую. Под открытым небом он хотел свободно предаваться своим мыслям либо после окончания беседы с людьми желал заняться наблюдением природы. Вторая причина более своеобразна, а именно: он хотел дышать только носом и направлять сырой и холодный воздух не сразу прямо в легкие, а позволить ему проделать сначала большой крюк. Эти меры, которые он рекомендовал всем своим друзьям, он считал отличной профилактикой кашля, насморка, хрипоты и ревматических приступов, что, вероятно, было оправданно, ибо сам он страдал от этих заболеваний крайне редко. У меня даже нерегулярное и не совсем точное соблюдение этого предписания привело к уменьшению этих недугов. После шести часов вечера он садился за свой рабочий стол – это был совершенно обычный и ничем не выдающийся домашний стол – и читал до вечерних сумерек. В это столь благоприятное для размышлений время он задумывался над прочитанным, если оно стоило особых размышлений, или посвящал эти спокойные мгновения планированию того, что он будет говорить на следующий день на своих лекциях или напишет для публики. Тогда он, и зимой и летом,



занимал своё место у печки, откуда через окно мог видеть башню Лёбенихта. Её он созерцал во время таких размышлений, или, скорее, его взор часто покоился на ней. Он не мог подобрать подходящих слов, чтоб выразить, насколько благотворным для его глаз является расстояние до этого объекта. Должно быть, его глаза уже привыкли к этой ежедневной панораме в сумерках. Когда впоследствии в саду его соседа несколько тополей выросли настолько высоко, что заслонили башню, это стало его беспокоить и мешать размышлениям, поэтому он пожелал, чтобы деревьям обрезали верхушки. К счастью, владелец сада был человеком благоразумным, испытывавшим к Канту любовь и глубокое уважение и вдобавок поддерживавшим с ним близкие отношения; ради него он пожертвовал верхушками тополей, так что башня снова стала видна, и Кант, созерцая её, мог спокойно предаваться размышлениям.

Когда было светло, он продолжал чтение до десяти часов вечера. За четверть часа до сна он старался избавиться, насколько это было возможно, от напряжённых размышлений, от любого умственного труда, требующего малейших усилий, дабы не испытывать ненужной бодрости перед отходом ко сну, ибо малейшие проявления бессонницы были ему крайне неприятны. К счастью, она почти не беспокоила его. Не прибегая к помощи слуги, он в одиночестве разоблачался в своей спальне, но всегда лишь настолько, чтобы иметь возможность в любое мгновение предстать пред людьми, не смущая их и не смущаясь самому. После этого он ложился на матрац и укутывался в одеяло, летом – хлопчатобумажное, осенью – шерстяное; при наступлении зимы он использовал их оба, а в лютые морозы прибегал к пуховому одеялу, верхняя часть которого, укрывающая



плечи, была не набита пером, а выполнена из толстого слоя шерсти. Благодаря многолетней привычке, он приобрёл особое умение закутываться в одеяла. При отходе ко сну он сначала садился на кровать, затем с лёгкостью нырял в неё, протягивал один угол одеяла через плечо под спиной к другому плечу и с особой ловкостью подтягивал другой угол под себя и к животу. И вот в таком виде, напоминая то ли тюфяк, то ли сплетённый кокон, он ожидал наступления сна. Часто он говорил своим сотрапезникам: «Когда я ложусь таким образом спать, я спрашиваю самого себя: может ли человек быть здоровее, чем я?» Его здоровье означало для него не только отсутствие любой боли, у него было прекрасное самочувствие, и он истинно наслаждался им, поэтому тотчас же засыпал. Никакая страсть не побуждала его к бодрствованию, никакое горе не могло помешать его сну, никакая боль не могла его разбудить. В самые суровые зимы он спал в холодной комнате; только в последние годы жизни по совету друзей он велел слегка отапливать спальню. Он был врагом всего, что называют заботой о себе и уходом за собой. Упомянутое пуховое одеяло было единственным, что защищало его от холода. По его словам, ему хватало пяти минут, чтобы согреться. Если ему приходилось по какой-либо причине покинуть свою комнату в темноте, что происходило частенько, надёжным проводником к постели ему служила верёвка, которую он заново натягивал каждый вечер. Его спальня не освещалась ни летом, ни зимой: и днём, и ночью окна были закрыты ставнями по весьма своеобразной причине. Из-за ошибки в наблюдениях он пришёл к необычной гипотезе о происхождении и размножении клопов, которую почитал, однако, за непреложную истину. Дело в том, что в другой квартире он всегда держал



ставни закрытыми для защиты от солнечных лучей, но однажды, на время короткой загородной поездки забыл запереть их и, вернувшись, нашёл свою комнату полной клопов. Поскольку он считал, что раньше у него клопов не было, то и сделал вывод, что свет является необходимым источником существования и продолжения жизни этих паразитов, а защита от проникновения солнечных лучей – средством, предотвращающим их распространение. Вероятно, другие обстоятельства укрепили его в этой мысли. Возможно, уборка, произведённая без его ведома, изгнала их, а поскольку он в то время снова тщательно закрывал ставни, то и поверил, что это темнота истребила исчезнувших насекомых. На истинности своей теории он настаивал меж тем столь убеждённо, что любое едва заметное сомнение, любое малейшее раздумье вызывало в нём обиду. Даже аргумент, способный убедить любого другого, что во времена его первого слуги кровать его была полна этими паразитами, не мог нарушить его уверенности, потому что он возразил бы, что тот не исполнял своих обязанностей закрывать ставни, и дневной свет мог беспрепятственно проявлять свою созидательную силу в сотворении этих насекомых. Он никогда не жаловался на неприятности, которые причиняли ему эти живые существа, но, вероятно, они были ему вдвойне неприятны, поскольку он был знаком с ними по собственному опыту; кто знает, не пошатнулась ли слегка от этого его уверенность в том, что сила духа превосходит плотские ощущения. Я оставил его при своём мнении, заботился об уборке его спальни и постели, в результате чего количество клопов уменьшилось, хотя створки и сами окна почти ежедневно открывались без его ведома, чтобы в комнате был свежий воздух. Некоторое время спустя он стал спать спокойнее, даже не подозревая, почему.



Ни днём, ни ночью Кант не потел. Возможно, его натура уже привыкла, движимая скорее страхом, чем внимательной заботой о себе, избегать всего того, что могло бы вызвать испарину. Удивительно при этом было то, что в его гостиной обычно было довольно жарко, и он чувствовал себя несчастным, если температура понижалась хотя бы на один градус. Термометр в этой комнате должен был неизменно показывать 75 градусов по Фаренгейту⁶, и если в июле и августе температура не достигала этого значения, он распорядился отапливать гостиную, пока столбик термометра не поднимется до нужной отметки. Жарким летом он ходил легко одетым, всегда в шёлковых чулках, которые он никогда не подвязывал, но старался поддерживать их путём самостоятельно придуманного приспособления. В капсуле, напоминающей корпус карманных часов, но меньшей по размеру, в заводном барабане, вокруг которого была обмотана, как цепочка в часах, жильная струна, располагалась часовая пружина, сила натяжения которой могла быть увеличена или уменьшена при помощи стопорного механизма. К обоим концам двойной струны были приделаны два крючочка, которые прицеплялись с двух сторон к чулку. Возле кармана для часов находились два похожих меньших кармана для капсул, имевшие внизу небольшое отверстие, через которое проходили струны с закреплёнными на них крючками. Если бы это устройство не было так оригинально и не указывало одновременно на любовь Канта к порядку и на его заботу о здоровье, – ведь он следовал правилу, что нельзя сдерживать кровообращение туго затянутыми подвязками, – оно бы вряд ли заслуживало упоминания. Для Канта эти эластичные подтяжки для чулок были настолько необходимы, что он чувствовал себя растерянно, когда

⁶ Примерно 24 градуса Цельсия.



они запутывались; к счастью, я с лёгкостью устранял эту неловкость. Поскольку уже упомянутый лёгкий костюм всё же не вполне предотвращал летом появление испарины при движении на открытом воздухе, у него было наготове ещё одно профилактическое средство. Он останавливался где-нибудь в тени и стоял в таком положении, словно ждал кого-то, так долго, пока побуждение к потоотделению не проходило. Но если душной летней ночью у него проступала хотя бы капля пота, он упоминал об этом случае так, словно с ним произошло отвратительное событие, обладавшее особой важностью.

Утром, без пяти минут пять, и летом, и зимой, его слуга Лампе входил к нему в комнату, по-военному строго восклицая: «Пора!». При любых условиях, даже в тех редких случаях, когда ночь была бессонной, Кант, не медля ни секунды, повиновался суровой команде. Часто за столом он со своеобразной гордостью задавал своему слуге вопрос: «Лампе, приходилось ли вам за тридцать лет хотя бы однажды утром будить меня дважды?». «Нет, досточтимый господин профессор», – таким был уверенный ответ бывшего воина. Стоило часам пробить пять, Кант уже сидел за столом, чтобы выпить, как он выражался, чашку чая, которую он в раздумьях, а также для того, чтобы она оставалась тёплой, наполнял снова и снова, так что в итоге получалось уже две чашки, а то и более. При этом он, надевая для такого случая на голову поношенную шляпу, выкуривал свою единственную за весь день трубку, притом с такой скоростью, что в ней оставался тлеющий конус пепла, который он обычно именовал «голландцем». Куря трубку, он так же, как и вечером у печи, обдумывал свои планы и в 7 часов обычно шёл читать лекции, после которых усаживался



за письменный стол. Без четверти час вставал и кричал кухарке: «Уже без четверти!». После супа выпивал, как он это называл, глоточек, состоявший из полстакана полезного для желудка вина, венгерского или рейнского, а если такового не было, то бишоф. Это вино приносила кухарка. Он шёл с ним в столовую, сам себе его наливал и закрывал стакан листом бумаги форматом в шестнадцатую долю, чтобы предотвратить испарение. Сотрапезники Канта знали, что это было для него важным делом, которое он вряд ли доверил бы кому-то, так что этот факт заслуживает упоминания. После этого Кант, даже в последние годы жизни, ждал своих гостей в полном облачении. Он считал неуместным появляться в шлафроке для беседы за столом в узком кругу друзей, и говорил по этому поводу: «Нельзя быть лежебокой».

Так проходил день за днём, и все они были похожи друг на друга, но это однообразие не казалось ему ни утомительным, ни скучным; дни Канта проходили бодро, в строгом порядке. Именно этот порядок и неизменная диета, казалось, продлевали ему жизнь, поэтому он рассматривал своё здоровье и свой почтенный возраст почти как собственное творение или, по его словам, как произведение искусства, умение сохранять меру и гармонию, несмотря на все опасности и сомнения, которые уготавливают нам жизнь. Он держался, как искусный гимнаст, который долго эквилибрирует на плохо натянутом канате, ни разу с него не соскользнув. Он с триумфом выстаивал против приступов любой болезни, но был при этом настолько объективен, что говорил: даже как-то неприлично жить так долго, как он, потому что таким образом он отнимает хлеб у молодых людей. Эта забота о сохранении здоровья была также причиной, по которой его столь интересовали новые



медицинские системы и изобретения. Броуновскую систему он считал в этой связи важнейшим открытием. После того как ее перенял Вейкард и благодаря ему она стала известной, Кант также познакомился с ней. Он считал её значительным прогрессом не только в области медицины, но и вообще в истории человечества; находил, что она соответствует обычному движению, по которому следует человечество, – после множества сложных обходных путей вернуться, наконец, к простому; считал её многообещающей, в том числе и в экономическом отношении, для пациентов, бедность которых лишает их возможности использовать дорогие и сложносоставные лекарства. Он мечтал о том, чтобы у этой системы появилось больше приверженцев, и она вошла в ежедневный обиход.

Однако совершенно противоположного мнения придерживался он в самом начале, когда доктор Дженнер обнаружил своё открытие коровьей оспы, имеющее позитивное значение для человека. Он не признавал за ней названия прививки от оспы ещё долгое время, думал даже, что человечество слишком уподобляет себя животным и что прививка вызовет у человека своего рода зверство (в физическом смысле). Он опасался далее, что примесь животных миазмов в крови или, по крайней мере, в лимфе может сделать человека нестойким к эпидемиям скота. Наконец, он сомневался, в связи с отсутствием достаточных знаний, в защитной силе её против человеческой оспы. Даже если оснований для этого было недостаточно, ему доставляло удовольствие взвешивать все за и против.

Опыты Беддо с жизненным газом⁷ и удушающим веществом⁸, в которых вдыхание первого приводило к

7 Кислород.

8 Азот.



туберкулезу, а вдыхание другого излечивало от него, так же, как и метод Рейха сбивать температуру, произвели на него большое впечатление, которое, однако, после того как эти открытия, особенно последнее, ни к чему не привели, пропало само собой. Теорию гальванизма и описание этого феномена он, несмотря на все приложенные для этого усилия, не вполне смог понять. Работа Августина об этом предмете была одной из последних, прочитанных им, и на полях которой он ещё делал пометки. В последнее время он поручал мне делать выдержки из того, что я читал по этому вопросу.

Постепенно и к нему подкрадывались слабости возраста, становившиеся всё заметнее. Казалось, то, что всю жизнь было недостатком Канта, но доселе проявлялось лишь в незначительной степени, а именно рассеянность в делах повседневных, с годами нарастало во всё большей степени. Он сам признавался, что давно замечал за собой этот недостаток, и приводил в качестве примера следующую историю из ранних лет своей жизни. Будучи совсем маленьким мальчиком, он по дороге из школы остановился по определённым, легко угадываемым причинам на несколько минут под одним из окон, повесил свои книги на засов ставней и забыл их снять. Вскоре после этого он услышал робкий оклик старой, доброй, незнакомой ему женщины, которая, с трудом переводя дыхание, спешила вслед за ним, чтобы со всей доброжелательностью вручить ему его книги. И в поздние годы своей жизни он не забыл поступка этого человека и не делал тайны из того, что он и ранее был забывчив. Но то, что раньше случалось редко, с возрастом происходило всё чаще. Он начинал рассказывать одно и то же по нескольку раз в день. Самые отдалённые события прошлого со всей



живостью и точностью стояли у него перед глазами, а настоящее производило на него, как это часто бывает со стариками, более слабое впечатление. Он мог долго, с удивительным мастерством читать наизусть длинные немецкие и латинские стихотворения, но только такие, в которых сочетались вкус, тонкий юмор и привлекательные комические образы и которые, соответственно, могли премного способствовать увеселению общества. Выразительные места из латинских поэтов, в особенности целые фрагменты из «Энеиды», легко всплывали в его памяти, в то время, как только что сказанное из неё улетучивалось. Он сам замечал ухудшение своей памяти и записывал поэтому, во избежание повторов и, заботясь о разнообразии разговора, темы на маленьких листочках, на конвертах, на обрывках бумаги, и число их в последнее время так росло, что нужную записку едва можно было отыскать. При побелке его кабинета в августе 1802 года он хотел их сжечь. Я попросил разрешения оставить их себе, и он отдал их мне. Некоторые из них я до сих пор храню как реликвии; пересматривая их, я вспоминаю сказанное на эти темы, бывшие приятные и полезные разговоры. В качестве примера возьму наугад, без всякого выбора, одну из этих записок и приведу дословно то, что в ней говорится, за исключением того, что сказано в ней о кухне или не предназначено для публики: «Удушающая кислота – это название лучше, чем азотная кислота. Признаки здоровья. Clerici⁹, Laici¹⁰. Te Regulares¹¹, эти Sekulares¹². Как я обучал моих учеников полностью предотвращать насморк и кашель (дыхание носом).

9 Лат.: клирики, священники.

10 Лат.: миряне.

11 Лат.: живущие по канону.

12 Лат.: миряне.



Слово «следы» неверно, нужно говорить «стопы». Удушающее вещество азот является способной к окислению основой азотной кислоты. Подшёрсток (флорос), который есть у ангорских овец, да даже и у свиней, которые вычесываются в высоких горах Кашмира, впоследствии становится знаменит в Индии, поскольку даёт название шалям, которые очень дорого продаются. Сходство женщины с розовым бутонем, с распутившейся розой и с шиповником. Ошибочно считавшиеся духами гор никель, кобальт. От скалы и т.д.» Вместо этих записочек я делал ему маленькие книжицы из одного листа почтовой бумаги, сложенные форматом в шестнадцатую долю и переплетённые.

Вторым признаком немощи была его теория о действительно странном феномене кошачьей смерти в Базеле, Вене, Копенгагене и других местностях. Он считал её последствием господствующего в то время, по его мнению, электричества особого рода и его пагубного влияния особенно на этих животных, которые сами по себе наэлектризованы. Кроме того, он считал, что видел в то и в последующее время особую фигуру из облаков. Её границы представлялись ему нечётко обрисованными, небословнобыравномернозатянутым, безнапоминающих горы облаков. Причиной этого явления он тоже считал такой род электричества. Но не только облака, похожие на мыльную воду, не только смерть кошек, нет, и свою тяжесть в голове он возводил к той же причине. Но то, что он называл тяжестью в голове, было, скорее, неважным самочувствием, вызванным наступающей старостью, которое не позволяло думать с той же лёгкостью и ясностью, к какой он привык. Он избегал контраргументов против своей теории. Его убеждённость в собственной правоте усиливалась ещё и тем, что его друзья, щадя его



и проявляя деликатность, прямо ему не возражали. Ему охотно прощали субъективную убеждённость в том, что его состояние зависит от влияния погоды, поскольку это значило, что оно может измениться, и эта надежда, пусть и на отдалённое будущее, снова вселяла в него мужество и удовлетворённость. Кто из участливых друзей этого страдальца смог бы бросить тень ненужных сомнений на его всё ещё светлое будущее, кто отнял бы у него надежду на выздоровление, противореча ему? Его ежедневное и с каждым днём всё более уверенное утверждение, что не что иное, как этот вид электричества является причиной его недомогания, делало очевидным для его друзей, что природа берёт своё, что он начинает сгибаться под ношей лет. Кант, великий мыслитель, перестал мыслить.

Возможно, кто-то усмотрит в этом своего рода скрытое тщеславие, будто бы он, осознающий своё былое величие, хотел отвергнуть, утаить, приукрасить надвигающуюся немощь? Ничего подобного, его собственные высказывания решительно опровергают любые наговоры подобного рода.

Уже в 1799 году, когда немощь его была едва заметна, признавая её, он однажды сказал в моём присутствии: «Господа, я стар и слаб, вам следует обращаться со мной, как с ребёнком».

Возможно, кто-то подумает, что он боялся приближающейся смерти и в особенности, по причине усиливающейся тяжести в голове, из-за грозящего ему каждую минуту удара. Возможно, из-за долгой привычки жить, у него возникла привязанность к жизни, которую часто испытывают старики? Нет! И это не так. Он всегда оставался способен отречься от неё и спокойно ждать прихода смерти. По этому поводу также можно привести его высказывания, которые, вырванные из



верного контекста, уже публично цитировались в других местах и которые стоят того, чтобы их сберечь. «Господа, – говорил он, – я боюсь не смерти, я смогу умереть. Я клянусь вам перед Богом, что если этой ночью я почувствую, что умру, я подыму руки, сложу их и скажу: – Слава тебе, Господи! Вот если бы злобный демон сидел у меня за спиной и шептал мне в ухо: «Ты сделал людей несчастными!», – тогда другое дело». Это слова поистине достойного мужа, который не купил бы себе жизнь ценой неблагоприятного поступка, который часто обращался к словам, ставшим для него почти девизом: «*Crede summum nefas, animam praeferre pudori et propter vitam vivendi perdere causas*»¹³. Тот из его сотрапезников, кто был свидетелем разговора Канта о своей смерти, подтвердит, что никакого лицемерия за этим не таилось.

Постепенно убывающие силы уставшего от своих трудов старика вносили изменения в его сложившийся образ жизни. С давних пор он привык ложиться спать в 10 часов, а в 5 часов его будили. Последней привычке он остался верен, а вот первой – нет. Хотя у него ещё были жизненные ресурсы, ему теперь пришлось бережно обращаться со своими силами. Сначала он добавил ко времени сна несколько минут, которые потом превратились в часы. В 1802 году он уже ложился спать в 9 часов, а потом шёл в постель и ещё раньше. Он чувствовал, что увеличение времени, отводимого на отдых, его укрепляет. Он почти верил, что нашёл верное средство умножить свои силы, стал их поэтому больше расходовать, но без особого успеха.

Свои прогулки он сократил до короткого променада в Королевском саду недалеко от дома. Чтобы твёрже ступать, он следил за своими движениями. Он ставил ногу перпендикулярно земле, несколько притопывая,

¹³ Лат.: «Помни, что высший позор – предпочесть жизнь чести и ради жизни утратить основание жизни». (Ювенал, Сатиры, VIII, 83-84).



отчасти для того, чтобы увеличить основу, соприкасаясь с землёй всей подошвой, отчасти чтобы твёрже стоять на песчаной почве. Тем не менее, однажды на улице он упал. Две дамы поспешили, чтобы помочь ему, если он не сможет встать сам. Он поблагодарил за деятельное участие этих неизвестных ему персон и вручил, будучи всё ещё верен основам учтивости, одной из них розу, которую как раз держал в руке. Она приняла эту розу с огромной радостью и сохранила на память.

Возможно, этот случай стал причиной, по которой он вскоре совсем прекратил свои прогулки. Мнения его друзей по этому поводу были различны: одни утверждали, что Кант из-за слабости не мог более выходить, другие – что отказ от движения сделал его ещё слабее. Его работа, состоявшая скорее в чтении, нежели в написании чего-либо, продвигалась всё медленнее. Любое занятие было для когда-то столь деятельного мужа утомительным, особенно если оно было связано с физической активностью. Его ноги всё сильнее отказывались слушаться его. Он падал и при ходьбе, и стоя, но почти всегда не причиняя себе вреда, смеялся над каждым таким случаем и утверждал, что из-за лёгкости своего тела не может тяжело упасть. Часто, особенно по утрам, он засыпал от усталости на своём стуле, падал во сне вниз, не мог сам себе помочь и продолжал спокойно лежать, пока кто-нибудь не приходил. Позднее обычный стул был заменён другим, с устойчивой опорой, и с этого времени такие несчастные случаи больше с Кантом не происходили.

Такое внезапное засыпание могло иметь более губительные последствия иного рода. Читая, он трижды наклонял голову так близко к свече, что хлопковый ночной колпак загорелся ярким пламенем на его голове. Нисколько того не испугавшись, он схватил его



руками, не обращая внимания на боль, причиняемую огнём, положил его на середину пола и погасил, топчая ногами. Я объяснил ему, как опасно такое рискованное предприятие, – ведь огонь мог перекинуться на его шлафрок, и он мог бы запросто сгореть, – стал ставить с этих пор на его стол стакан и бутылку с водой, чтобы они были наготове, распорядился изменить форму ночного колпака и просил его следовать моему совету, если ещё произойдет подобный случай, не гасить огонь ногами. Эти меры предосторожности и увеличение расстояния до свечки, к которому Кант скоро привык, помогли предотвратить неприятности, которые могли навредить не только Канту, но и остальным.

Кант уже не мог заниматься денежными расчётами без ущерба для себя. Он платил одной честной женщине пять талеров за свечи, но вместо полгульдена дал ей целый гульден, то есть двойную сумму. Женщина уже собиралась взять деньги, но заметила ошибку Канта и протянула ему обратно половину суммы. Об этом своём просчете Кант тут же рассказал, чтобы не умолчать о честности этой женщины. Но, возможно, не все, кому он платил деньги, были столь щепетильны, как она. Наверняка кое-кто воспользовался слабостью Канта в неблагородных целях.

Пережив ряд несчастных случаев, утрат, испытывая ощущение усиливающейся слабости, а также убеждённости в том, что вскоре ему понадобится посторонняя помощь, Кант всё больше привязывался ко мне. Он постоянно делал какие-то наброски, чтобы потом обсуждать их и советоваться со мной или для того, чтобы попросить меня доставить ему ту или иную необходимую ему вещь. В более ранние годы ему не нравилось, когда его друзья приходили не вовремя, а теперь он всё более настойчиво изъявлял желание, чтобы я, когда у меня есть время, заходил к нему



посмотреть, чем он занят. Он выражал это желание в столь гостеприимной манере, что я охотно выполнял его просьбу. Но вскоре одно обстоятельство заставило меня отказаться от продолжения этих визитов. Я пришёл лишь с целью посмотреть, не испытывает ли он каких-либо неудобств или недостатка в чём-то необходимом, не могу ли я помочь ему советом или делом, а он с видимым напряжением попытался играть роль хозяина, развлекающего гостя, и был скорее галантен, чем непосредственен. Я попробовал дать делу новый оборот и стал впоследствии сокращать свои визиты до нескольких минут, чтобы избавить его от усилий, требовавшихся для беседы. Я оставался дольше, когда он просил об этом сам, но откланивался тут же, как только замечал, что общение его утомляет. Эта выверенная дистанция сохранялась некоторое время.

Но затем возникло ещё одно обстоятельство, сделавшее необходимым более частые визиты. Его денежные дела вёл до сих пор доктор Я.¹⁴, заслуженно пользовавшийся полным доверием Канта. Этот друг Канта покинул Кёнигсберг, и вместе с его отъездом закончилась и та помощь, которую он оказывал Канту. Не смею думать, что, если бы этой разлуки не произошло, он так скоро сблизился бы со мной. Ему не были свойственны такие недостатки как нерешительность, колебания, неустойчивость дружеских связей, нарушение доверия; это был человек с твёрдыми принципами, верный им и на словах, и на деле.

Надо сказать, что и его сотрапезники усердствовали в том, чтобы оказывать ему посильную помощь, так что почти каждый взял на себя какую-то сферу его хозяйствования, один весьма ценимый Кантом иноземный друг даже заботился о его кухне. Ко мне он обращался, когда у него заканчивалось бельё или что-то

¹⁴ Иоганн Бенъямин Яхман (1765-1832), медик, брат Рейнольда Бернарда Яхмана (1767-1843), педагога и биографа Канта.



из одежды или в его доме необходимо было что-либо отремонтировать. Хотя подобные его просьбы удовлетворялись, ему не хватало кого-то, кто взял бы на себя его финансовые дела и домашние заботы.

Насколько искусен был Кант в умственных занятиях, настолько не приспособлен он был к домашней работе. Лишь перо подчинялось ему, но не перочинный нож. Поэтому мне обычно приходилось затачивать перья под его руку. Лампе ещё меньше умел устранять недостатки в хозяйстве. Он никогда не понимал, почему какая-то вещь не работает, более того, он лишь пытался применить силу, заменяя работу головы работой рук. При таких обстоятельствах хороший совет мог весьма пригодиться. Великий теоретик и мелкий практик в делах механики, Кант и Лампе, – тот лишь голова, этот лишь руки, – часто были озадачены самыми элементарными вещами. Тот обозначал проблему, необходимость помочь в каких-то вещах, этот старался устранить, но не проблему, а саму вещь, которую он часто ломал, неверно применяя силу. Канту было в высшей степени приятно, когда мелкие неисправности, такие, как скрип двери, или то, что она тяжело открывалась и закрывалась, устранялись тут же без посторонней помощи, легко и без лишнего шума, или если налаживался сбившийся ход его часов (которые Кант так любил, что иногда говорил: если бы он оказался в бедственном положении, они были бы последним, что он продал). Мне, умевшему обращаться с механизмами, подобные вещи удавались с лёгкостью. Привыкнув первым делом обнаруживать причину неполадки и искать способ её устранения, я легко находил её и часто исправлял, не прибегая к инструментам. Скорость, с которой я это выполнял, вызывала удивление и радость Канта, особенно в тех случаях, когда сам он



считал беду неустранимой, так что он иногда говорил обо мне: «Он знает толк во всех вещах». Я бы скромно обошёл молчанием это высказывание, если бы оно не раскрывало для меня секрета, почему Кант из всех своих сотрапезников выбрал именно меня. Его иссякающие силы побудили его, вероятно, присмотреть себе кого-то, кто, по его выражению, мог бы дать дельный совет. Помимо этой причины, роль сыграло, видимо, понимание того, что связанные с разъездами дела других его друзей не позволяют им посвящать ему ежедневно столько времени, сколько ему действительно требовалось в его беспомощном состоянии. К этому добавлялось и то, что моя квартира располагалась неподалёку от его, и уверенность в том, что мне не грозили, в отличие от других его сотрапезников, далёкие и долгосрочные служебные поездки, которые бы меня с ним разлучали.

Приведённое сплетение многих обстоятельств, без сомнения, доказывает, что Кант выбрал меня своим помощником не потому, что пренебрёг достоинствами других своих сотрапезников, а потому, что в сложившихся обстоятельствах я оказался подходящей фигурой. Возможно, дополнительной причиной того, что он выбрал меня, было и то, насколько быстро и пунктуально, при содействии моей семьи, я выполнял его поручения. Он испытывал огромное удовольствие, когда вещь доставлялась быстро. Когда на свой вопрос: «Это можно сделать тотчас же?» – он получал ответ его же словами: «Да, тотчас же!», – то восклицал с нескрываемой радостью: «О! Это великолепно!». Простое «да» было для него слишком слабым утверждением.

В качестве третьего признака его немощи можно рассматривать то, что с её нарастанием он одновременно терял чувство времени, особенно небольших его



отрезков. Одна минута и даже, без преувеличения, и меньший промежуток, казались ему несопоставимо более долгим временем. Он никак не мог убедить себя в том, что выполнение какого-либо дела с высокой скоростью длилось недолго.

В начале его последнего года жизни ему пришло в голову, вопреки его сложившимся привычкам, иногда, после проведённого за столом обеденного времени ещё в полном присутствии сотрапезников выпивать со своими гостями чашку кофе, особенно когда я обедал с ним; при этом, вопреки своему желанию, я должен был выкуривать трубку табака. Уже за день до этого он безмерно радовался моему присутствию, кофе и трубке, при выкуривании которой он, однако, не составлял мне компании. Он часто говорил об этом за столом, записал это событие в свою книжицу, которую я распорядился сделать для него вместо записочек. Поскольку этот нововведённый, не вполне полезный для пищеварения десерт часто удлинял трапезу и требовал от меня слишком много времени, я старался, насколько это было возможно, его избегать. Часто Кант был настолько погружён за столом в беседу, что забывал, что я, его *ex officio*¹⁵ курящий гость, сидел за столом. Тогда этот вопрос сам собой отпадал, что было для меня к лучшему, поскольку я боялся, что кофе, этот непривычный для него напиток, может стать причиной беспокойной ночи. Но если попытка сделать так, чтобы он забыл о кофе, не удавалась, дело принимало дурной оборот, особенно если время было уже позднее. Нетерпение своё он выражал всё же мягко, порой весьма наивно, так что это вызывало смех. Кофе должен был быть доставлен тотчас же (характерное для него выражение). Все предварительные меры для приготовления одного в дни, когда я у него трапезничал, предпринимались заранее.

¹⁵ Лат.: по обязанности.



Для завершения столь важного для него процесса оставалось приложить лишь последние усилия. Стрелой мчался слуга, чтоб засыпать кофе в уже кипящую воду, дать ему вскипеть и принести к столу, но и это короткое, необходимое для приготовления время казалось ему безмерно долгим. На каждое успокаивающее уверение он отвечал по-разному, изменение формулировок его не смущало. Если говорили: «Кофе скоро будет подан», – он отвечал: «Да, будет, в этом и загвоздка, что он только будет подан». Если звучало: «Скоро будет готов!», – он добавлял: «Да, скоро, час это тоже скоро, и столько времени уже прошло с тех пор, как прозвучало предыдущее скоро». Наконец он говорил со стоической выдержкой: «Я скорее умру, чем дождусь его, а на том свете я уж вряд ли захочу пить кофе». Он даже вставал из-за стола и кричал по направлению к дверям, и притом довольно разборчиво: «Кофе! Кофе!». Когда же он, наконец, слышал, как слуга поднимается по лестнице, то, ликуя, восклицал: «Вижу землю!», – как матрос с мачты. Остывал кофе, по его мнению, тоже слишком долго, даже когда его несколько раз переливали из чашки в чашку. Когда же кофе, наконец, можно было пить, раздавалось: «Да здравствует кураж, господа!». При этом от радости он особенно раскатисто выговаривал «р», особенно в слове «кураж», а после того, как все насладились кофе, он говорил: «И на этом баста!», – резким движением ставя чашку на стол, что придавало этой фразе особый ритм.

Чтобы не вызывать в нём нетерпения, я держал про запас вещи, которые могли ему понадобиться и которые не могли быстро испортиться, или я распорядился принести их из своего дома. Эти меры предосторожности весьма облегчали ему его вообще-то безрадостные дни, он даже начинал думать, что не может обойтись без моей



помощи. Поэтому я устроил всё так, чтобы каждый день на полчаса навещать его.

Из всего вышесказанного можно было предположить, что заметные идиосинкразии Канта при нарастании слабости легко могли превратиться в своего рода упрямство, которое при близком общении с ним могло привести к некоторым неприятностям. Так что я определил основные положения, которые хотел проверить наблюдением, для того, чтобы мне было легче с ним общаться. При всём моём уважении к этому великому человеку я никогда не позволял себе никакого подхалимства, свободно высказывал собственное мнение, но без малейшей дерзости, и твёрдо настаивал на том, что решительно считал полезным и благим для него. Такое поведение, без сомнения, помогало мне всё более заслужить его доверие. Кант, будучи благородным человеком, ничего не презирал сильнее, чем мелкое угодничество. На склоне лет о нём поползли некоторые слухи, основанные на заблуждениях, беспочвенные подозрения его в брюзгливых высказываниях о слугах. В большинстве случаев, когда он совершал какую-либо ошибку, то погружался в глубокое молчание. Если он спрашивал меня, в чём он был неправ, я прямо говорил ему, что по тем или иным причинам, которые я приводил в соответствии со значимостью дела, я не могу разделять его мнения. Иное поведение, лесть или предвзятость были бы наверняка верным средством потерять его доверие и уважение, поскольку каждый благородный человек скорее примет мягкое и обоснованное возражение, чем трусливое угодничество, и после взвешенного рассуждения и более спокойной оценки наказывает презрением тех, кто соглашается со скоропалительными суждениями и неподобающими желаниями.



В прежние годы Кант, правда, не привык, чтобы ему возражали. Его пронизательный ум, всегда вырuchавшее его остроумие, при некоторых обстоятельствах переходившее в язвительность, его широчайшая учёность, благодаря которой он мог поддерживать любой разговор и не давал навязать себе чужое мнение или ложное суждение, его повсеместно известный благородный образ мыслей, его строгий моральный образ жизни создавали ему такое превосходство перед всеми остальными, что он мог не опасаться внезапных возражений. Если же кто-то осмеливался противоречить ему в обществе слишком громко или с претензией на остроумие, то он умел придать разговору настолько неожиданный оборот, что общее мнение было на его стороне, и даже самый смелый остряк смущался и замолкал. Поэтому было неслыханным событием то, что он спокойно, хоть и с серьёзным сомнением, но без раздражения, выслушивал приводимые мной доводы. Так любезен был этот великий человек, даже будучи слабым стариком. Часто без малейшего протеста, без возражений он отказывался от своего самого горячего желания, если я убеждал его в том, что это вредно для его здоровья, и отрекался даже от самых давних своих привычек, если я указывал ему на то, что его теперешнее состояние требует их изменения. Когда же он привыкал к новому, лучшему распорядку вещей и понимал преимущества моих предложений, то весьма трогательно благодарил меня за моё упорство. Я старался открыто не возражать ему, ожидал подходящего момента, более спокойного настроения, но неустанно повторял свои предложения, если некоторые из них вызывали в нём сомнения, пока он их, наконец, не принимал. Поэтому он никогда прямо не отклонял ни одного из них. Его просьбы об отсрочке исполнения какого-либо предложения были



зачастую трогательны, особенно если надо было менять бельё. Поэтому я заранее начинал заводить об этом речь, чтобы некоторая задержка не смогла помешать гигиене. Как бы ни был Кант привержен последней, он иногда протестовал против применения правил гигиены под предлогом того, что никогда не потеет.

С каждым днём моя привязанность к нему возрастала. Какое восприимчивое сердце не ощутит честь призвания быть опорой достойному старцу, столь мужественно и стойко несущему бремя своего возраста? Кто не захотел бы добровольно облегчить ему это бремя? Преимуществом моего положения было то, что я мог говорить с ним уже в 5 часов утра. Если мои дела не позволяли прийти в обычное время, между 9 и 10 часами, я избирал ранние утренние часы для визита к нему. Каждый день приносил мне пользу: ведь ежедневно я открывал для себя новую приятную сторону его доброго сердца, ежедневно я получал новые подтверждения его доверия. Как бы различны ни были ситуации и обстоятельства, в которых я имел возможность за ним наблюдать, я всегда замечал, сколь велики были его добродетели и сколь незначительны недостатки.

Величие Канта как учёного и мыслителя известно миру, я не могу оценить его, но деликатные черты его скромной доброты никто, кроме меня, не имел возможности наблюдать. Он умел скрывать от людских глаз то, что могло бы вызвать похвалу. Не каждому дано с готовностью принимать благожелательные предложения другого, стоящего гораздо ниже его, и твёрдо им следовать, а этот человек делал именно так. Ведь при его великом уме, – который, правда, уже тлел, как огонь под пеплом, но иногда прорывался яркими, самого себя ослепляющими языками пламени, – в эти светлые моменты он не становился нетерпимым, а, наоборот,



использовал их для того, чтобы поблагодарить своего друга за его распоряжения и вновь уверить его в своём всё увеличивающемся доверии. Как отличался здесь Кант от ряда обычных людей, которые часто просят совета, но не следуют ему!

Он действовал последовательно и из двух альтернатив – действовать самостоятельно и твёрдо на свой страх и риск, либо, в случае если это было нецелесообразно, обязательно следовать совету того, кого он однажды одарил доверием, – он выбирал вторую. Он никогда не нарушал мои планы каким-нибудь вмешательством в них и никогда не делал тайны из того, что полностью доверялся мне. Это поведение, так же, как и признание моих заслуг, часто вгоняло меня в краску, и так как Кант в таких случаях не щадил моих чувств, я понимал, как мучительна слишком большая доброта. Что до сих пор было лишь необходимым общением, становилось, я должен честно в этом признаться, чем-то бóльшим: дружеским благоволением, сердечные и почти нежные проявления которого описать словами не позволяет скромность, но которые запечатлелись в моём сердце тем сильнее, чем очевиднее было то, что этот искренний человек не мог сказать того, чего бы он на самом деле не чувствовал.

Кант перенял блестящий парадокс Аристотеля: «Мои дорогие друзья, друзей не существует». Казалось, он вкладывал в слово друг не обычный смысл, а примерно то же значение, которое имеет слово слуга в концовке письма или в обычном прощании: ваш покорный слуга. Здесь я не мог с ним согласиться. У меня был друг в полном смысле этого слова, и, ценя его, я не мог разделить мнение Канта. До сих пор Кант был самодостаточен, и, поскольку страдания были ему ведомы лишь на бумаге, не нуждался в друге. Теперь



же, вследствие своей немощи, будучи пригвождён к земле, он озирался в поисках опоры, без которой не мог больше держаться прямо. Поэтому, когда я однажды, в то время как он особенно настойчиво уверял меня в своём дружеском отношении, выразил своё недоверие, сославшись на упомянутый парадокс, он был достаточно искренен, чтобы признаться, что теперь он единого со мной мнения и не считает более дружбу пустой химерой.

Со свойственной ему деликатностью, упорно избегая любой навязчивости, он всё ещё не спешил доверять мне все свои дела, в то время как я, в свою очередь, тоже никогда не делал для него больше, чем он просил или добровольно мне поручил, а именно: вносить свои предложения, как облегчить ему жизнь, даже когда он не обращался ко мне за советом. В ноябре 1801 года он ознакомил меня со своим желанием передать мне в управление своё состояние и всё, что прямо или косвенно его касается, и, как говорится, уйти на покой. Он говорил мне об этом снова и снова, сначала просил меня об одолжении пересчитать имеющиеся у него в наличии деньги и рассортировать разные монеты. Вероятно, незадолго перед этим поручением случилось некое не вполне объяснимое событие, касающееся денег, впечатлившее Канта. Для выполнения порученного задания первым делом он передал мне ключи, которые имел обыкновение называть своим священным сокровищем, и ушёл в другую комнату. Я был смущён этим новым проявлением его доверия, поскольку мне было известно, что в этом шкафу хранились все касающиеся его состояния бумаги, содержание которых он держал в тайне. Вскоре он вернулся из своей комнаты и вручил мне на память отчеканенную в его честь медаль, а также передал мне письменно оформленную



дарственную на неё, чтобы после его смерти слугу не заподозрили в хищении. Кто и по какому случаю вручил ему эту медаль, мне неизвестно. Говорили, что это был подарок еврейской общины за разъяснение сложных мест в Талмуде, о котором он читал лекции, что кажется мне неубедительным. Кант и Талмуд кажутся мне, по меньшей мере, слишком несовместимыми, чтобы их можно было каким-либо образом объединить. Несмотря на высказанные в этой комнате торжественные уверения в своём ко мне доверии, которое он, что доказывают мои успехи, действительно ко мне питал, я не так уж легко брал на себя что-то важное для него, не посоветовавшись с одним из его друзей. Особенно часто я избирал для этого советника В.¹⁶ – человека, отличающегося своими широкими познаниями, благородным сердцем и большой скромностью, которого очень ценил Кант, и с которым я вместе обедал в один из дней недели в первые годы существования общества сотрапезников Канта. Поскольку я обозначаю его имя лишь инициалами, позволю себе привести собственное суждение Канта о нём, которое он записал в свой дневник, когда ему пошёл 80-й год: «Господин В., в том, что касается его настроения и образа мыслей, так же, как и его пронизательности, как гуманист и деловой человек представляет собой редкое явление». Этого мужчину я ознакомил со своими планами по поводу ведения записей, проверки, поправок и доверенностей. Таким образом, я мог, с одной стороны, защитить себя от возможных упреков других людей и своей совести в поспешных и самовольных действиях, с другой стороны, извлечь настоящую выгоду для Канта из совместной инспекции, прибегнув к опыту этого уважаемого человека. Кант принял мои предложения

¹⁶ Иоганн Фридрих Вигилантиус (1757-1823), юрист, правительственный советник, консультировал Канта по всем правовым вопросам, в том числе помог ему составить завещание.



с ещё большим доверием, узнав о содействии мне со стороны советника В.

После того как Кант однажды поручил мне свои дела, он отстранился от всех вопросов, касавшихся платежей, не делал ничего без моего совета, и уж тем более не ставя меня в известность. Ничего не происходило в обход нижестоящей власти, и решение низшей инстанции всегда получало одобрение высшей.

Первое время после того, как он передал мне управление, я использовал для того, чтобы ознакомиться с его делами и бумагами. Из последних не сохранилось ничего, кроме того, что имело отношение к его финансовому состоянию. Он посвятил меня в его размеры и добавил: хотя он и нажил всё честным трудом, величина его никому не известна, кроме того, кто взял его на хранение под проценты. Он хотел бы, чтобы суммы были известны только мне, и чтобы я хранил их в тайне. Позднее он позволил мне ввести в курс дела и советника В., поскольку выяснившиеся обстоятельства, о которых мне нужно было с ним посоветоваться, требовали этого. Остальные его бумаги, научные труды были переданы на хранение двум ученым, живущим ныне не в Кёнигсберге.¹⁷ От научной корреспонденции не сохранилось ни строчки. О его ещё не законченной рукописи будет упомянуто позже.

Я просил его осведомить меня о некоторых вещах, о которых я должен был знать, и предоставить сведения о семье, что он и сделал весьма подробно и без стеснения.

Сначала я по некоторым причинам счёл необходимым переложить деньги на хранение в другой шкаф, в

¹⁷ Имеются в виду профессор философии Готлоб Бенъямин Еше (1762-1842), издатель «Логика Иммануила Канта» (Кёнигсберг, 1800 г.), и профессор геологии Фридрих Теодор Ринк (1770-1821), издатель сочинений «Физическая география Иммануила Канта» (Кёнигсберг, 1802 г.) и «Иммануил Кант о педагогике» (Кёнигсберг, 1803 г.). В 1804 г. Ринк был обер-пастором в Данциге (сегодня – Гданьск), а Еше – профессором философии в Дерпте (сегодня – Тарту).



опечатанных и подписанных мешочках. В оправдание этих мер я позволю себе здесь отступление от повествования. Согласно завещанию, состояние Канта в 1798 году оценивалось в 42 930 гульденов, или 14 310 талеров, не считая его дома и недвижимости. После этого прибыль от его сочинений и лекций была незначительной, поскольку он уже не писал и не выступал публично. Капитал в 10 000 талеров, который был одолжен под 6 процентов, был ему возвращён и теперь был одолжен лишь под 5 процентов, вследствие чего в год он получал на 100 талеров меньше. На содержание своих родственников он ежегодно давал 200 талеров. Когда он стал немощным, его расходы увеличились. Лампе получал 40 талеров ежегодно и после увольнения. Тем не менее, после его смерти оставалось ещё 17 000 талеров наличными. Пересчитанные суммы и вложенная в них записка, в которой был указан их размер, лежали в бюро, в котором раньше хранились все наличные деньги на текущие расходы. Я пересчитывал их как минимум дважды в неделю и сравнивал количество денег с возможными расходами, которые Кант осуществлял теперь самостоятельно лишь в крайнем случае. Думаю, что не ошибусь, утверждая, что благодаря этим мерам удалось кое-что сэкономить. Ключи от обоих хранилищ денег были у самого Канта. Я брал их лишь при выплатах и, после того как списывал уплаченную сумму, снова вручал ему. Когда однажды нужно было выплатить в моё отсутствие некоторую сумму, превосходившую количество наличных денег в его бюро, Кант был непреклонен, и, несмотря на все старания его слуги, не позволял взять отсутствующую сумму из большего хранилища, хотя у него был ключ, и отложил выплату до того, пока я не пришёл, чтобы не нарушать моих мер предосторожности. Это обстоятельство, характеризующее его как мужа с твёрдыми принципами и утончённым



образом мыслей, успокоило меня насчёт будущего и укрепило меня в предположении, что и в случае, если немощь его усилится, я смогу не бояться незаслуженного унижающего предположения или оскорбления. Напротив, другие обстоятельства показали, как точно и проникательно он умел ценить каждую услугу, сопряжённую с небольшим самопожертвованием.

Во время моих ежедневных визитов к нему меня, естественно, частенько настигала плохая погода. Но он признавал, что я никогда на неё не жаловался; напротив, замечал, что если я приходил к нему вымокший под дождём или замёрзший от холода, то старался избавиться от следов непогоды или скрыть их перед тем, как войти в его комнату. Он великодушно предлагал мне каждый раз карету за свой счёт, чтобы я не зависел от погоды. Хотя я никогда не соглашался на это предложение, не могу обойти это молчанием, а привожу в доказательство его деликатности и понимания.

Именно эта его благородная благодарность побуждает меня повременить с рассказом о его домашних делах, прервать нить повествования о них, позволяет мне сделать небольшое отступление и набросать несколько штрихов из жизни Канта более ранних лет. До самого почтенного возраста благодеяния, оказанные ему, оставались в его благородном сердце, а память о его благодетелях была для него свята. Он всегда делал то, что нужно, и поэтому раскаяние о невыполненном долге было ему чуждо. Но одно исключение, свидетельствующее скорее об его чести, чем об его ошибках, всё же имело место. Он весьма сожалел, что отложил до времени, когда стал не в силах выполнить эту задачу, создание, как он выразился, письменного памятника в честь заслуженного доктора теологии, пастора в Альтштадте и директора



Фридериканской коллегии Франца Альберта Шульца. Этот большой знаток людей открыл в Канте великие и редкие способности и привёл к успеху незамеченного гения, который без его участия, возможно, зачах бы. Ему Кант был обязан тем, чем он стал, а учёный мир – тем, что он получил благодаря такому образованию. Шульц уговорил родителей Канта отправить своего сына учиться и поддерживал его таким способом, который не задевал чувства достоинства родителей Канта, не принимавших помощи напрямую. Он снабжал родителей Канта дровами, которые им внезапно и бесплатно привозили. Заслуживают упоминания слова самого Канта о финансовом состоянии своих родителей, о котором ходили разные слухи. Его родители были небогаты, но и не настолько бедны, чтобы испытывать лишения, тем более не гибли они под тяжестью нужды и забот о пропитании. Они зарабатывали столько, что им хватало на домашнее хозяйство и на воспитание детей. Тем не менее, Кант вспоминал об этом участии, которое было в то время не таким уж значительным, и о мягкой деликатности, с которой Шульц помогал его родителям и ему самому во время обучения; трогательно хвалил его благородный характер, который он узнал, ещё пребывая в родительском доме, куда Шульц часто заходил, и был благодарен ему за совет, который тот дал его родителям: обратить внимание на таланты сына и содействовать его образованию.

С самыми тёплыми чувствами искреннего почтения и детской нежности вспоминал Кант о своей матери. Я передаю эту историю в том виде, в котором получил её из двух источников: отчасти из бесед с Кантом в часы его откровенных разговоров о семейных делах, исключая обстоятельства, упоминать которые не позволяла его скромность, отчасти из того, что смогла добавить



его ныне живущая сестра, которой рассказывать о моментах, похвальных для Канта, пристало более, чем ему. Как считал Кант, его мать была женщиной большого природного ума, который и достался ему по наследству, благородного сердца и истинной, совсем не надуманной религиозности. С искренней признательностью Кант был благодарен ей за начальное формирование его характера и первооснов того, чем он стал в последующем. Она и о своих способностях не забывала и обладала своего рода образованием, которого достигла путём самообучения. Как я мог заключить по немногим бумагам из семейной переписки, принадлежащим ее перу, писала она, соблюдая правила орфографии. Для её сословия и для того времени это было уже много, это было редкостью. После того, как Шульц указал ей на большие способности сына, она и сама разглядела их, и они, конечно, занимали её материнское сердце и побуждали её уделять его образованию столь серьезное и тщательное внимание, какое только было возможно. Поскольку сама она была честной женщиной, а муж её честным мужчиной, оба были друзьями истины; поскольку уста её никогда не лгали, никакие недопонимания не нарушали домашнего единства; поскольку в присутствии детей не звучали никакие взаимные упрёки, способные ослабить их уважение к заботливым родителям, то этот пример весьма положительно повлиял на характер Канта. Ошибки воспитания не осложняли ему дело дальнейшего становления, которому зачастую не удается скрыть их настолько, чтобы они стали незаметны. Его мать рано осознала свой долг: она умела в процессе воспитания соединять приятное с полезным, часто ходила со своим Манельхеном (так материнская нежность смягчала имя Иммануил, соответствовавшее в календаре дате его



рождения, 22 апреля) на природу, обращала его внимание на объекты природы и некоторые её явления, обучала его знанию разных полезных трав, даже рассказала ему об устройстве неба столько, сколько знала сама, и удивлялась его догадливости и сообразительности. Некоторые вопросы сына, вероятно, часто ставили ее в тупик. Но кто не пожелает себе испытать подобное смущение? Как только Кант пошёл в школу, и особенно когда он стал учиться в университете, их продолжающиеся прогулки приобрели иной характер. То, что было для неё непонятно, сын мог ей объяснить. Это открыло для счастливой матери двойной источник радости: она получала новое, недоступное ей ранее знание, к которому она так стремилась, она получала его от своего сына, что свидетельствовало о его быстром прогрессе и немало укрепляло виды на будущее. Вероятно, при всей материнской пристрастной любви, часто легко преувеличивающей те ожидания, которые внушают дети, они всё же не были так уж велики, и Кант их потом превзошёл, но времени их осуществления она не застала. Кант скорбел о её смерти с полной любви, нежной печалью хорошего и благодарного сына. И в последний год своей жизни, каждый раз, рассказывая о способствовавших ему в жизни условиях, он до глубины души печалился о ранней её утрате. Её смерть ускорило одно странное обстоятельство. У матери Канта была подруга, к которой она относилась с нежной любовью. Та была помолвлена с мужчиной, которому она отдала всё своё сердце, оставаясь невинной и добродетельной. Несмотря на данное обещание на ней жениться, он нарушил верность и предложил руку и сердце другой. Из-за горя и боли обманутая заболела смертельной горячкой, но отказывалась принимать предписанные ей медикаменты. Её подруга, ухаживающая за ней у



её смертного одра, протянула ей наполненную ложку. Больная отказалась принять лекарство и утверждала, что у него отвратительный вкус. Мать Канта, желая убедить её в обратном, не нашла ничего лучшего, как принять то самое лекарство, которое уже попробовала больная, с её ложки. Тошнота и холодный озноб охватили её в то самое мгновение, как она это сделала. Воображение умножило и усилило их, а так как к этому прибавилось и то обстоятельство, что она увидела на теле своей подруги пятна, в которых признала петехии, то она и объявила сразу: пришла её смерть, – легла в тот же самый день в постель и умерла вскоре после этого, принеся себя в жертву дружбе.

Насколько признателен был Кант за благодеяния своим теперь уже покойным друзьям, настолько доброжелателен он был в оценке других людей. Он ни о ком не говорил дурно. Разговоров, касающихся тяжких человеческих грехов, он старался избегать, словно упоминание дурных поступков могло оскорбить разговорчивых собеседников и навредить их благополучию. Менее караемые провинности и нарушения обязанностей казались ему как минимум недостойным предметом разговора, который он вскоре менял на более достойный. Он чтит заслуги каждого и старался помочь с работой почтенным людям так, что они и не догадывались об этом. В нём не было и следа соперничества, не говоря уж о зависти. Он старался помочь новичку и способствовал его успеху. С большим уважением говорил о своих коллегах. Он участливо справлялся о состоянии здоровья проповедника и профессора Ш.¹⁸ у друга, обедавшего у него каждую неделю¹⁹. Другого своего соратника, в прошлом достойного

18 Придворный проповедник и профессор математики Иоганн Шульц (1739-1805), друг Канта, защитник его философии. В 1789 г. в издательстве Гартунга в Кёнигсберге вышла его книга «Разъясняющее изложение «Критики чистого разума»».

19 Иоганн Фридрих Гензихен (1759-1807), профессор математики в Альбертине, которому Кант завещал свои книги.



слушателя²⁰, способствовавшего распространению необходимых знаний не столько своими трудами, сколько неустанными лекциями и проявленной в них учёностью в самых различных предметах, Кант характеризовал как большого знатока людей. А именно, он уверял, что в своих многолетних наблюдениях за человеческой натурой ему не встречался более пронизательный ум, более великий гений. Он утверждал, что тот склонен к любой, даже самой фундаментальной науке и может усвоить всё, что способен вместить в себя человеческий разум, при этом с такой скоростью, с которой не каждый смог бы проникнуть в глубины науки. Он сравнивал его с Кеплером, о котором утверждал, что тот, насколько можно судить, был самым пронизательным из всех когда-либо живших мыслителей. Многих коллег он приглашал к своему столу и умел отдать должное заслугам каждого. Это его всеобщее благоволение по отношению к людям делало для него невозможным презрительно думать или говорить о каком-либо сословии, его презрение касалось недостойных членов любого сословия, но оно редко становилось предметом публичного высказывания.

После этого отступления я снова возвращаюсь к прерванной нити повествования о домашней жизни Канта. Кант показывал мне ранние наброски своего завещания, которое он сам отдал на хранение. В них то один, то другой его соотрапезник был назван душеприказчиком, потом снова вычеркнут, и в результате там осталось только моё имя. При этом он объяснял, что не может вспомнить, назначал ли он уже кого-либо душеприказчиком, а тем более, кого именно, и требовал от меня, чтобы я разрешил это дело после его смерти.

20 Кристиан Якоб Краус (1753-1807), с 1782 г. профессор практической философии и камералистики в Альбертине. Пропагандировал в Германии идеи Адама Смита и заложил основы прусских реформ.



Я взял это на себя с условием, что если его последней волей уже был назначен душеприказчик, которому что-то полагалось за труды, то тот не должен после его смерти потерять то, что причиталось. Кант счёл это предложение справедливым и передал в 1801 году представителям академического сената дополнение к своему завещанию, в котором он, посоветовавшись предварительно со своими друзьями-юристами, назначал меня, со всеми правами, которые предоставляли законы земли, своим душеприказчиком. За день до этого его охватил страх, не забыл ли он чего-либо, что ущемило бы меня при передаче прав, и он потребовал при этом акте моего присутствия, к которому он уже привык во всех своих предприятиях, но, когда я обрисовал ему невозможность такого хода дела, понял и согласился на то, чтобы при передаче присутствовал другой его сотрапезник. Когда я после проведённого акта передачи обедал с ним, он осушил бокал вина, произнеся тост: «За то, что сегодня всё так хорошо прошло!» И добавил, шутя и улыбаясь: «И без спектакля». Он много и радостно говорил о совершённом сегодня деле, но так витиевато, что второй сотрапезник не понимал, о чём идет речь. Этот метафорический способ изъясняться в присутствии других людей Канту вообще не был свойственен, лишь сегодня он позволил себе сделать исключение. Я не давал формальных обязательств делать для него что-либо. Кант был слишком деликатен, чтобы требовать от меня этого, а я слишком осторожен, чтобы определённо обещать ему что-то, поскольку могли возникнуть непредвиденные препятствия. Не сговариваясь, мы были согласны друг с другом, и каждый из нас знал, чего ему ожидать от другого. Если бы немощь Канта приняла такой оборот, что свободный человек просто не смог бы выдержать его обращения и



всплесков дурного настроения, то меня не сдерживало бы обещание, и я смог бы удалиться на соответствующую дистанцию. Честно признаю свои сомнения: я не мог тогда исключить, зная его слабости, что он своей властью может уничтожить мои добрые намерения; например, в том, что касается его слуги, он мог бы поддасться слабости и уступчивости, занять его сторону, разделяя его непозволительные и убыточные предложения, и тем самым скомпрометировать меня. Но сознаюсь, что в этих подозрениях я был неправ, я был слишком слаб, чтобы понять всё его истинное величие. Ведь если иногда он вследствие плохого зрения путал меня со своим слугой и разговаривал со мной в том тоне, в котором обычно обращался к нему, то каждый раз, когда он осознавал свою ошибку, смущался от неловкости, из чего явственно следовало, что он охотно укрепил бы меня во мнении, что обращался в разговоре не ко мне, а действительно к своему слуге. Поэтому я избегал, насколько возможно, указывать ему на такую путаницу. Но если эта попытка не удавалась, удручающим и мучительным для меня было принимать его извинения по поводу сказанного.

К домашнему окружению Канта относился также его слуга, Мартин Лампе. Он был родом из Вюрцбурга, служил солдатом в прусской армии, а после отставки из полка поступил на службу к Канту, которую исполнял в течение сорока лет. Вначале, поскольку он служил исправно, Кант был о нём высокого мнения и оказывал ему beneficia. Но именно это либеральное отношение Канта стало причиной того, почему Лампе предался дурной привычке, к которой его подтолкнул и хороший заработок. Он злоупотреблял добротой своего господина неблагоприятным способом, требовал с него прибавки, приходил домой не вовремя, ругался с проходящей



прислугой и вообще становился с каждым днём всё более непригоден для прислуживания своему господину. Такое его поведение неизбежно привело к тому, что отношение Канта к нему изменилось. Он принял решение расстаться с ним, и оно с каждым днём всё более крепло и близилось к исполнению. У меня были причины подозревать, что оглашение этого решения было не пустой угрозой или попыткой повлиять на то, чтобы Лампе исправился, но серьёзным намерением Канта, поэтому я искал основания, чтобы смягчить и отсрочить его исполнение, в особенности, поскольку предвидел, что расставание неизбежно, но будет связано с трудностями и для Канта, и для меня, и для Лампе, и для нового слуги. Нужно было уволить поседевшего вместе с Кантом, но ставшего недостойным слугу. Оба привыкли друг к другу, я должен был стать посредником между ними. Кант мог бы раскаяться в предпринятом шаге и снова взять его к себе в дом. Как далеко зашла бы жестокость Лампе по отношению к Канту и ко мне, если бы он получил столь очевидное доказательство своей незаменимости? А где можно было в такие краткие сроки найти верного, привыкшего к уединению слугу, который смог бы приспособиться к устоявшимся привычкам Канта? Так что я часто старался, пока что без вреда, отводить этот угрожающий молниеносный удар, хотя, зная характер Канта, мог с уверенностью предположить, что, если он всерьёз решит уволить Лампе, ничто не сможет остановить его намерение, что со временем успешно подтвердилось.

Мягчайшее сердце сочеталось у Канта самым тесным образом с наитвердейшим характером. Если он однажды давал слово, то оно значило, благодаря его нерушимой твёрдости, больше, чем клятвенные обещания других. Эта надёжность часто облегчала мне возможность придавать



иное, полезное для него направление тем его желаниям, исполнение которых могло бы повлечь за собой простуду, расстройство пищеварения или другие неприятности. Было достаточно одного его слова в поддержку моего предложения, вносимого по обоснованным причинам, – особенно когда дело касалось его организма, который уже не мог в поздние годы вынести того, что было возможно для него ранее, – и он преодолевал самое страстное своё желание. Он дал мне обещание следовать моим советам относительно полезности вещей, и он держал слово.

Некоторые из его сотрапезников утверждали, что они ни за что на свете не хотели бы взять на себя то бремя, которое налагали на меня отношения с Кантом, и жалели меня; но я сам себя никогда не жалел и уверяю, что то участие, которое я принимал в делах Канта, я не могу назвать обузой. Поскольку он был слаб и нуждался в помощи, я был ему, конечно, необходим, но я нуждался в нём уж точно ещё больше. Он охотно видел меня, я – ещё более охотно – его, и я не мог спокойно провести и дня, чтобы не увидеть Канта, не порадоваться ему, особенно в последние годы его жизни. Во время визитов, даже когда его состояние меня тревожило, я никогда не прибегал к малодушному тону, которого не мог терпеть человек, стойко противостоявший тяготам надвигающейся старости. Он не был настолько изнеженным, чтобы его нужно было жалеть. Оживлённой и доверительной была моя речь, с которой я обращался к нему. Ему и не нужно было докучливого утешения. Моего восклицания «Non, si male nunc, sic erit et olim²¹» было ему достаточно. Такая непринуждённая дружеская поддержка ободряла его иногда настолько, что он называл меня своим утешением, такое имя мне давала его слабость. Трогательным

²¹ Лат.: «Если плохо сейчас – не всегда же так будет» (Гораций, Оды, II, 10, 17).



было для меня видеть в последнее время, когда он стал настолько дряхлым, что не мог читать и писать, как он сидит у двери с часами в руке, ожидая минуты моего прибытия. Он особенно остро ощущал потребность в общении после долгого одиночества. Могло ли быть обузой для меня то, что я посещал его каждый день, без исключений?

После стольких лет знакомства, общения и доверительного отношения (я могу, не отступая от правды, использовать это выражение), поскольку у него давно не было от меня секретов, мы – иначе и быть не могло – знали друг друга довольно хорошо. И если человек с таким непоколебимо твёрдым характером, основанным на проверенных принципах, в полном осознании того, что он говорит, степенно, серьёзно, решительно и доверительно высказывался по отношению ко мне следующим образом: «Дражайший друг, если Вы считаете нечто для меня благоприятным, а я нет; если я считаю что-то непригодным и приносящим мне ущерб, но Вы мне это посоветуете, – то я одобряю и приму это»; и если этот человек действительно так поступал; если кроме того в некоторых делах, требовавших участия других лиц, каждый, кто был задействован, радовался тому, что он прилагает усилия ради Канта; если его поручения были такого свойства, что ни один честный человек ни на миг не сомневался, что не нуждается в том, чтобы спрашивать свою совесть, исполнять ли их; если можно было не опасаться противодействия, а напротив, можно было во всём ожидать поддержки и участия, – то становится понятно, что взять на себя дела Канта не было такой обузой, как это могло показаться с первого взгляда. Кант был и оставался решительным мужем, чьи ноги слабели и оступались, но дух – никогда.



Поэтому такой смелый шаг, как расставание со своим старым слугой, он мог предпринять и счастливо осуществить только сам. Ещё до того, как эта разлука действительно наступила, я признавал невозможным для Канта, часто падавшего из-за слабости в ногах, поручить попечение о себе одному лишь слуге, который нередко был не в состоянии самостоятельно стоять и, по весьма отличающимся причинам, разделял судьбу своего господина. Кроме того, поскольку Кант удовлетворял его требования касательно денег, в надежде купить себе мир и покой, это лишь усугубляло наклонности Лампе, и он опускался всё ниже. К этому добавлялось и то, что вследствие запрета требовать денег у кого-либо другого, кроме меня, и благодаря тому, с какой серьёзностью я указывал ему на каждый перерасход, он потерял надежду вновь обрести такой удобный для него прежний статус-кво. После этого он понял, что вынужден ограничиваться почти одним своим жалованьем, и сам считал службу у Канта, по сравнению с прежними золотыми деньками, уже не столь выгодной. Другая мера, о которой я говорил ранее, вероятно, также повлияла на то, что он отчаялся увидеть лучшие времена. Но даже если предположить, что все эти неприятности не имели бы места, всё же то обстоятельство, что силы слуги Канта заметно уменьшились, с необходимостью заставило бы задуматься о том, чтобы его место занял крепкий и сильный мужчина. Я предусмотрительно предпринял необходимые меры и находился во всеоружии перед предстоящим разрывом; искал, нашёл и выбрал слугу и держал его во временном услужении, от которого он мог быть в любой момент освобожден. Часто я говорил с Лампе то мягким, то серьёзным тоном о том, что решение его господина уволить его всё ближе к исполнению,



указывал ему на его печальный жребий в будущем, делал ему весьма внятные намеки на то, что в случае хорошего поведения не только он, но и его жена и дети смогут быть счастливы, объединил усилия с его супругой, со слезами просившей его подумать о собственном благе. Он обещал исправиться, но вёл себя ещё хуже. Наконец, в январе 1802 года настал день, когда Кант сделал тяготившее его признание: «Лампе так со мной обошёлся, что мне стыдно об этом говорить». Я не стал его выспрашивать и не знаю, в чем состояла эта, наверно, грубая провинность. Кант настоял на его отставке, хотя и без гнева, но с мужественной серьёзностью. Его просьбы, высказанные мне, были так настойчивы, что я счёл необходимым встать из-за стола раньше других гостей и позвать находившегося в ожидании слугу Иоганна Кауфмана. Лампе не понимал, что происходит. Кауфман пришёл. Кант смотрит на него, сразу постигает его характер и говорит: «Он кажется мне спокойным, честным и разумным человеком. Если он согласен полностью подчиняться указаниям моего друга, я ничего не имею против него, и он должен в точности исполнять то, что тот ему скажет, то, о чём он с ним условится, я также одобряю, и этому он и должен следовать». Итак, Кант при первом же разговоре позаботился о том, чтобы внушить ему уважение ко мне. На следующий день Лампе был уволен, получив ежегодную пенсию с предписанным судом условием: выплата последней тотчас же прекратится, если Лампе или его представитель станут беспокоить Канта.

Слуга Иоганн Кауфман был словно создан для Канта и скоро почувствовал истинную любовь и личную привязанность к своему господину. После его появления в доме Канта существующая ситуация изменилась к лучшему, поскольку он был совсем другим человеком.



Слаженность в отношениях с приходящей прислугой Канта, находившейся в постоянных ссорах с Лампе, но сумевшей обходиться подобающим образом с Кауфманом, привела к тому, что в доме философа воцарился мир, до сих пор нарушавшийся слишком шумными сценами, о которых Кант, возможно, и не знал. Теперь он мог проживать свои дни без раздражения из-за некоторых досадных происшествий, неизбежного и для философа. Как бы великодушно ни прощал он Лампе, он всё же счёл необходимым изменить своё распоряжение, до того почти чрезмерно благодетельное, и утвердить ему пенсию лишь в размере 40 рейхсталеров до конца его дней. Во втором, отложенном в связи с этим, дополнении к своему завещанию он проявил благородство и великодушие способом, обращающим на себя внимание. Он изменил предложенное ему начало такового, которое звучало: «Плохое поведение Л. вынудило... и т.п.», на выражение «Обоснованные причины вынудили и т.п.», сказав при этом: «Так можно смягчить выражение». Спустя двадцать шесть дней после увольнения Лампе это дополнение было внесено, и в нём не осталось ни следа от справедливого недовольства. Лампе попросил рекомендацию, я подготовил ее для Канта. Долго он обдумывал, что написать в том месте, где речь должна идти о поведении его слуги. Я воздержался от какого-либо совета, что он, кажется, одобрил. Наконец, он написал: «Он был верен, но вёл себя не приемлемым более для меня (Канта) образом».

Чем дольше продолжалось знакомство с Кантом, тем больше можно было узнать о неизвестных доселе положительных его качествах, и тем более достойным почитания он представлялся. Это проявлялось и в его нынешних переменах. Он настолько привык за долгие годы к малейшим деталям своего аккуратного и монотонного



образа жизни, что ножницы или перочинный нож, положенные не только в двух дюймах от их обычного места, но даже передвинутые в необычном для них направлении, уже вызывали его беспокойство. А уж перестановка крупных вещей в его комнате, таких, как стул, равно как и увеличение или сокращение их количества, совершенно сбивали его с толку, и он не отводил взгляда от того места, где они стояли, пока старый порядок вещей не был полностью восстановлен.

В связи с этим казалось невозможным, чтобы он привык к новому слуге, чей голос, походка и т.п. были для него совершенно чужими. Но и в своей слабости он сохранял довольно силы духа, чтобы, наконец, привыкнуть к тому, к чему его вынудило прежнее положение вещей, тем более что он сам санкционировал эти перемены своим решением. Лишь к громкому тенору своего слуги, резкому и, как он выражался, трубоподобному, он оставался чувствителен. «Он хороший человек, но, на мой вкус, слишком громко кричит», – это было всё, что он говорил, сочетая кротость и жалобное недовольство. В течение нескольких дней слуга привык разговаривать тише, и всё стало хорошо.

Этот новый слуга хорошо писал и считал и столь многому обучился в школе, что правильно произносил каждое латинское выражение, имена его друзей и названия книг. По поводу этого пункта, правильного называния вещей и произнесения слов Кант и Лампе никак не могли достигнуть согласия и всё время препирались, что часто давало повод комичнейшим сценам, особенно когда Кант произносил вслух старому слуге из Вюрцбурга имена своих друзей и названия книг.

За те тридцать лет, в течение которых Лампе дважды в неделю приносил и уносил «Гартунгскую газету» и каждый



раз слушал, как Кант её называл, чтобы не перепутать с «Гамбургской газетой», он так и не смог запомнить это название, и называл её «Гартманской газетой». «Эта вот Гартманская газета!», – мрачно ворчал Кант, морща лоб. После чего он очень громко, выразительно и чётко говорил: «Скажи: Гартунгская газета!» И вот бывший солдат стоял, опустив плечи, раздражённый тем, что он должен чему-то учиться у Канта, и говорил грубым тоном, которым ранее спрашивал «кто там?»: «Гартунгская газета», – но в следующий раз снова называл её неверно.

С новой прислугой подобные учёные занятия проходили совсем иным образом. Если Канту приходил на ум стих латинского поэта, тот мог не только достаточно грамотно записать его, но и временами учил его наизусть и даже мог его декламировать, если Кант не сразу его вспоминал, как это было со стихом *Utere praesenti; coelo committe futura*²², который я произносил Канту в минуты, когда его одолевало дурное настроение и мысли о том, что будет с ним в конце при его немощи, и который Кант, поскольку он раньше не знал его, часто снова забывал. Этот стих его слуга правильно произносил для него. Я иногда помогал ему, переводя и объясняя. Этот контраст, это явное отличие от Лампе побуждало Канта часто давать такую оценку своему слуге: «Он рассудительный и умный человек».

За день перед тем, как новый слуга приступил к службе, я исписал целый лист, составляя для него список всех привычек и обычаев Канта в течение дня, включая самые мелкие и незначительные, и он усвоил их с лёгкостью. Он должен был сначала продемонстрировать мне, как справляется с заданиями, и, поупражнявшись на время, приступил к своей службе. Так что свои первые услуги он исполнил столь умело, будто многие годы накрывал стол

²² Лат.: Пользуясь настоящим, будущее предоставь небу.



у Канта. Я присутствовал бóльшую часть первого дня его службы, чтобы намёками, которые он превосходно понимал, руководить всем и избежать малейшего нарушения привычек и обычаев Канта. Общаясь с ним долгое время, я был в точности осведомлён о них, только во время его чаепития не присутствовал ни один смертный, кроме Лампе. Для того чтобы сделать необходимые распоряжения, я был там уже в 4 часа утра. Было 1 февраля 1802 года. Кант встал, как обычно, в 5 часов, увидел меня, счёл мой визит очень странным. Он ещё не вполне отошел ото сна, и я поначалу не смог объяснить ему цель своего присутствия. Тут был ценен дельный совет. Никто не знал, где и как должно проходить чаепитие. Кант был сбит с толку моим присутствием, отсутствием Лампе и наличием нового слуги, не мог сориентироваться, пока, наконец, по-настоящему не проснулся и не пришёл в себя. Тогда он сам накрыл себе стол для чая, но не хватало ещё чего-то, – чего именно, Кант не мог определить. Я сказал, что хочу выпить с ним чашку чаю и выкурить трубку. Он принял это с присущей ему человечностью, но я видел, что он принуждает себя к этому. Он все ещё не мог сориентироваться. Я сидел несколько выше него. Наконец, он подошел и очень вежливо попросил меня сесть так, чтобы ему не было видно меня, поскольку более полувека за чаем возле него не было ни единой живой души. Я выполнил его пожелание, Иоганн вышел в соседнюю комнату и пришёл лишь тогда, когда Кант позвал его. Теперь всё было правильно. Кант привык, как я уже упоминал выше, пить свой чай в одиночестве, чтоб никто не мешал ему предаваться своим идеям. Хотя теперь он больше не читал и не писал, движущая сила многолетней привычки была в нем ещё велика, и он не мог терпеть кого-либо подле себя, не впадая в величайшее беспокойство. Точно так же



всё происходило, когда я одним прекрасным летним утром повторил подобную попытку.

Теперь мы были посвящены во все тайны Канта, и на следующий день с чаепитием дело обстояло уже лучше. Ещё долго Кант вспоминал мой первый визит как сон или наваждение.

Теперь с новым слугой всё шло как по маслу. Кант смог свободно вздохнуть, стал жить спокойно и был доволен. Если в услужение вкрадывалась небольшая ошибка, он успокаивал себя тем, что новый слуга ещё не смог до конца вникнуть в его мельчайшие привычки.

Немощь Канта проявилась странным образом. Обычно люди записывают то, что не хотят забыть, Кант же записал в своей книжце: нужно совсем забыть имя Лампе.

Кант находил неприемлемым, как уже было отмечено в журнале «Фреймютиге», называть своего слугу Кауфман, поскольку его фамилия означала «купец», а двух образованных купцов он приглашал каждую неделю к своему столу. Поэтому во время одного из оживлённых обедов, после прочтения весьма комичного стишка, который я не хочу здесь приводить и конец которого звучал «Так пусть зовется Иоганнес», было решено называть слугу в будущем не Кауфман, а Иоганнес.

В это время, а именно зимой 1802 года, каждый раз после еды на правой стороне в низу его живота появлялась припухлость, в несколько дюймов в диаметре, которая, если её потрогать, была очень твёрдой и заставляла его каждый раз после еды расстёгивать одежду, чтобы она не давила на низ живота. Хотя это не вызывало у него особых жалоб, всё же недомогание длилось около полугода, но без всяких лекарств наступило улучшение, так что он мог после съеденных с аппетитом кушаний не ослаблять больше одежды. Как бы ни было слабо его



тело, у него все же были внутренние ресурсы, чтобы защищаться от болезней и даже побеждать те, которые уже пустили корни.

Весной я посоветовал ему больше двигаться. Уже много лет он не выходил из дома, поскольку слишком утомлялся во время последних своих прогулок. Сердечное спасибо от всего общества хотелось бы сказать тому мужчине, который был столь внимателен к слабому, уставшему старику, что сразу после упоминания о том, что Кант во время своих прогулок по набережной в районе Лицента отчасти от усталости, отчасти из-за открывающегося вида прислонялся к стене, распорядился поставить для него скамейку, которой Кант с благодарностью пользовался, не зная, кому он обязан её появлением. Из-за слабости его ног было бы неблагоразумно советовать ему совершать пешие прогулки. Поскольку ряд предпринятых попыток не привёл к ожидаемому им результату, предпочтение было отдано передвижению в карете. Кант не имел привычки посещать свой сад. И когда, спустя годы после того, как побывал в нём последний раз, он вошёл в него весной 1802 года, то совершенно не узнал его и не понял, куда попал. Сведения, которые я хотел сообщить ему, о положении сада и его связи с домом, казалось, утруждали его. Он сказал, что даже не знает, где находится, чувствует себя неуверенно, как на заброшенном острове, и хотел бы вернуться туда, где он был раньше. Все эти явления стали следствием его привычки постоянно находиться среди вещей своего кабинета, которые теперь его не окружали, их отсутствие вызывало у него тоску по ним и смущало его. Для объяснения тех прстранных явлений, которые проистекали от немощи Канта, иногда достаточно было знать одно лишь незначительное обстоятельство, и вся загадочность его поведения быстро исчезала. Поскольку



я постоянно общался с ним, мне легко было с ним объясняться. Поэтому мне не казались удивительными даже эти его странные и показавшиеся бы любому другому необычными высказывания в его саду и тому подобные. Хотя он находился на свежем воздухе всего лишь несколько минут, он всё же слабел от него. Тем не менее, был сделан первый шаг к тому, чтобы Кант снова дышал свежим воздухом, от которого он отвык. Повторные попытки увенчались бóльшим успехом. Он уже выпивал в своём саду чашечку кофе, чего он прежде не делал, и вообще чувствовал себя уютно в своём новом положении. Он прислушивался к советам, которые ему давал кто-то другой. У него самого вряд ли родилась бы мысль отважиться на смену обстановки.

И раньше весна не производила на него особого впечатления, он, в отличие от других, не ждал с нетерпением в конце зимы скорейшего прихода этого радостного времени года. Когда солнце поднималось выше и грело сильнее, когда на деревьях распускались почки и они расцветали, и я обращал на это его внимание, он говорил холодно и равнодушно: «Да ведь так происходит каждый год, точно так же». Только одно событие доставляло ему тем больше радости, что он никак не мог дожидаться его повторения. Вспоминая ранней весной о том, что оно наступит, он задолго до того начинал радоваться, а с приближением этого события становился каждый день всё внимательнее, ожидание всё возрастало, его же наступление приносило ему большую радость. И эта единственная радость, доставляемая ему природой при всём богатстве ее прелестей, заключалась в возвращении славки, которая пела под его окном в саду. Эта единственная радость оставалась у него даже в безотрадном возрасте. Если его «подруга» долго не



появлялась, он говорил: «На Апеннингах, должно быть, ещё холодно», – и с большой нежностью желал этой своей «подруге», которая должна была посетить его либо собственной персоной, либо в виде потомков, хорошей погоды во время её долгого путешествия. Он вообще был другом своих соседей из царства птиц. Он обращал внимание на гнездящихся под крышей его дома воробьёв, особенно когда они садились на окна его кабинета, что происходило часто, поскольку там стояла тишина. Из их меланхолического, однообразного и часто повторяющегося щебета он делал вывод об упрямой чопорности воробьиных самок, называл этих меланхолических певцов-дилетантов страдальцами и жалобщиками, какие встречаются и среди оленей, и жалел этих одиноких созданий. Я не мог пройти мимо этого обстоятельства, показывающего его доброту даже по отношению к животным, которых пытаются истреблять, ведь и мелкие светлые мазки вносят свою лепту в общий колорит картины, и как много таких мелких штрихов и точек, которые как раз и возвышают целое, можно найти в характере Канта!

Он всё больше привыкал к свежему воздуху, от которого успел отвыкнуть, и вот была предпринята героическая попытка выехать из дому. Кант боялся отважиться на это. «Я упаду в карете как тряпка», – говорил он. Я настаивал с мягким упорством на попытке всего лишь проехаться по улице, на которой он жил, уверив его, что мы тотчас же повернём назад, если он не сможет вынести поездки. Лишь поздним летом, при температуре 18 градусов по Реомюру²³ была предпринята эта попытка. Советник Х.²⁴, достойный, терпеливый и до конца остававшийся Канту верным

²³ 22,5 градусов Цельсия.

²⁴ Советник Иоганн Готфрид Хассе (1759-1806), профессор теологии в Альбертине.



другом, сопровождал нас во время этой прогулки к небольшому месту отдыха перед Штайндаммскими воротами, домику, который я снял на несколько лет вместе с другим моим другом. Кант сразу помолодел, как только снова, спустя несколько лет, увидел знакомые предметы, вспомнил их и смог назвать башни и общественные здания. Но как же он радовался, что у него хватает сил прямо сидеть и бодро трястись в карете, не испытывая особых недугов. Радостные мы достигли цели путешествия. Он выпил чашку кофе, для него уже приготовленную, попробовал выкурить полтрубки табаку, чего он никогда прежде не делал вне установленного времени, с удовольствием слушал разноголосье птиц, часто задерживавшихся в этом месте, различал их пение и называл каждую птицу. Он провёл здесь около получаса и, понимая, что хватит уже развлечений, довольно радостный поехал домой.

Я не решался выводить его в многолюдные, часто посещаемые места, чтобы избавить его от внимания любопытствующей публики, которое, вероятно, досаждало бы ему, – чтобы не оказаться в неудобном положении человека, ставшего пристальным объектом наблюдения, что лишило бы его удовольствия. Публика давно не видела его; как только карета останавливалась перед дверью его дома, вокруг собирались даже люди высших сословий, чтобы увидеть Канта, возможно, в первый и последний раз. После нескольких посещений моего сада, располагающегося рядом с моим домом, с наступлением осени наши выезды в том году закончились. Передвижение, правда, утомляло Канта, но он спал спокойнее ночью и на следующий день был веселее, у него появлялись новые силы, и блюда казались ему вкусней и лучше усваивались.



С наступлением зимы он больше, чем обычно, жаловался на недомогание, которое он называл вздутием на устье желудка, и которое не мог ни объяснить, ни тем более вылечить ни один врач. Отрыжка действовала на него благоприятно, наслаждение пищей приносило ему короткое облегчение, позволяло забыть свои страдания и несколько развеять дурное настроение. Зима прошла в частых жалобах, он устав от жизни, стремился к последней черте и говорил, что не может больше приносить пользы миру и не знает, что ему с собой делать. Его состояние было загадочным: он не чувствовал боли, а его поведение и высказывания свидетельствовали о неприятных телесных ощущениях. Я подбадривал его рассказами о предстоящих выездах летом, он называл их, повышая градацию, сначала поездками, затем путешествиями за город, а затем дальними путешествиями. Он думал с тоской, граничащей с нетерпением, о весне и лете – не из-за их прелестей, но как о временах года, подходящих для выездов, – и записал вскоре в своей книжице: «Июнь, июль и август – три летних месяца» (а именно те, которые лучше всего подходят для путешествий). Воспоминание об этих поездках творило чудеса и возвращало Канту радостное настроение. Его способ желать чего-либо был столь симпатическим, что возникало сожаление о невозможности унять его тоску посредством волшебной силы.

Теперь, теряя жизненное тепло, он часто распоряжался отапливать свою спальню. Но он почти никому не разрешал в нее заходить. В этой комнате находились также его книги, числом около 450, часть которых была подарками от их авторов. Поскольку он ранее был библиотекарем здешней королевской замковой библиотеки, в которой



находились некоторые замечательные произведения и особенно путевые очерки, являвшиеся настоящей сокровищницей для его физической географии, и так как в дальнейшем он получал от своего издателя новейшие книги для ознакомления, ему было легче, чем другому университетскому преподавателю, отказаться от обширной коллекции книг.

К концу зимы он начал жаловаться на неприятные, пугающие его сны. Часто у него в ушах звучали мелодии народных песен, которые он слышал в ранней юности на улицах, и он, при всей силе своего абстрактного мышления, не мог от них отделаться. Часто ему на ум приходили нелепые школьные считалки. Можно привести одну из них: *Васса, щипцы, forceps, корова, rusticus, борода, nebulo* – ты снова.²⁵ Говорят, что в почтенном возрасте подобные дурачества мучают стариков и раздражают их своим произвольным припоминанием. С Кантом дело обстояло именно так. Как эти, так и другие бессмысленные стишки, так же, как и его сны, мешали ему ночью: одни долго не давали заснуть, другие страшно его пугали, когда он ещё крепко спал, и лишали его ночного покоя, этого укрепляющего средства отдыха для слабых стариков. Почти каждую ночь он дергал шнурок, проходивший через потолок его спальни и приводивший в движение колокольчик в комнате прислуги, расположенной над его кроватью. Как бы быстро ни вставал и ни поспешал вниз слуга, он всё же всегда приходил слишком поздно. Он часто находил своего хозяина, выпрыгнувшего из постели, уже в прихожей, потерявшего, как уже упоминалось, чувство времени. Слабость в ногах, преимущественно сразу после подъёма, увеличивающаяся от того, что тело долго находилось в горизонтальном положении, в котором Кант

²⁵ Лат.: *vassa* – корова; *forceps* – щипцы; *rusticus* – крестьянин, про-
стак, грубый, неуклюжий, неловкий человек; *nebulo* – бездельник, не-
годяй, мошенник.



пробывал, почти недвижим, часами, приводила иногда к падениям. Они не наносили ему большого вреда, не считая синяков, но последствия их, если бы они вовремя не были устранены, могли стать смертельными.

Поэтому я решил сделать Канту предложение, от которого, как я мог предвидеть с достаточно большой уверенностью, он как можно дольше станет отказываться, а именно: позволить его слуге спать с ним в одной комнате. Я знал, сколь сильны устоявшиеся привычки Канта. Он возражал, хоть и с мягкой улыбкой, против этого. Я упрекнул его в том, что он не держит обещания, данного некогда добровольно, принимать мои предложения даже тогда, когда не видит в них пользы или необходимости, и предложение было принято в соответствии с моими пожеланиями. Вначале Кант ещё жаловался, что присутствие другого человека мешает ему спать, но я сослался на необходимость этого, на данное им обещание следовать моим советам, и вскоре последние жалобы прекратились. Спустя непродолжительное время Кант сердечно благодарил меня за принятые меры: они не только увеличили его доверие ко мне, но и ускорили принятие и других правил, которые я устанавливал ради него и которым он следовал.

Его опасения по поводу вздутия на устье желудка всё более усиливались. Он даже пробовал принимать лекарства, против которых обычно яростно возражал: несколько капель рома на сахар, нефть, магнезию, леденцы от вздувания, – но всё это были лишь паллиативы, а радикальному лечению препятствовал его преклонный возраст. Его страшные сны становились всё более пугающими, а его фантазия соединяла отдельные сцены снов в целые ужасные трагедии, впечатление от которых было столь сильным, что эти видения ещё долго не



отпускали его и после пробуждения. Ему казалось, что во сне его окружают разбойники и убийцы. Это ночное беспокойство из-за кошмарных снов всё больше усиливалось, и в первые минуты после пробуждения слуга, спешащий ему на помощь, чтоб успокоить его, представлялся ему убийцей. Днём мы говорили о ничтожности его страхов, Кант сам смеялся над собой и записывал в свою книжицу: «Не давать волю ночным фантазиям».

Как уже было сказано, комната Канта была нарочно затемнена. Если он видел снаружи сумерки или дневной свет, то считал это искусственным обманом, который его пугал. Поэтому по моему совету ночью зажигалась свеча. Вначале это его раздражало, и сперва свечу ставили перед дверью комнаты, а затем непосредственно в комнату в светильнике, который во избежание вреда был помещён в пиалу с водой так, чтобы свет его не падал на Канта. И к этим переменам он вскоре привык.

Он стал всё менее ясно выражаться. Страдая теперь так часто бессонницей, он захотел часы с боем, я одолжил ему свои. Хотя это были обычные часы с боем, он, не привыкший слышать какие-либо звуки ночью, называл их звучание музыкой флейт и каждый день просил меня оставить их ему. Он повторял свою просьбу, а я – свои клятвенные заверения в том, что не заберу их, пока он сам этого не захочет. Но вскоре он стал жаловаться на то, что ему мешает бой часов. Я обтянул молоточек платком, и помеха была устранена.

Его аппетит теперь был не так хорош, как раньше. Эта потеря аппетита казалась мне дурным предвестием. Некоторые утверждают, что трапеза Канта была более плотной, чем это свойственно даже здоровому человеку. Мне это кажется необидительным по следующей причине: Кант ел всего лишь раз в день. Если посчитать,



сколько за все время съедает тот, кто утром пьёт кофе и ест при этом хлеб, а потом ещё и наслаждается вторым завтраком, потом следует добрый обед и, наконец, полдник и ужин, то объём блюд, употреблённых Кантом, покажется не слишком большим, тем более что он никогда не пил пиво. Он был непримиримейшим врагом этого напитка. Если кто-либо умирал в расцвете сил, Кант говорил: «Вероятно, он пил пиво». Если упоминалось о чьём-то недомогании, тут же следовал вопрос: «Он пьёт вечером пиво?» Из ответа на этот вопрос Кант делал вывод о положении звёзд пациента. Он объявлял пиво медленно убивающим ядом, подобно тому молодому врачу, что объявил ядом кофе, за чашкой которого он встретил Вольтера. Вот только ответ, который врач получил от Вольтера: «То, что он убивает медленно, – это точно, ведь я наслаждаюсь им уже около 70 лет», – Кант вряд ли смог бы услышать от истинных любителей пива. Нельзя отрицать, что в утверждениях Канта было немало истины, что вымывание желудочного сока, вязкость крови и ослабление сосудов были следствиями частого употребления этого напитка, чьё воздействие усугублялось вальяжным образом жизни. Во всяком случае, Кант считал пиво главной причиной всех видов геморроя, какие он только знал. Было время, когда он вроде бы заметил что-то подобное у себя, но его тело не нуждалось в *beneficīi naturae*²⁶, и Кант признался, что он ошибся. Невыносимы для него были люди, которые всё время чем-то наслаждались; было забавно слышать, как Кант перечислял все виды наслаждений, присущие этим кутилам, и описывал всю их жизнь. Но было заметно, что это описание отображало идеальную картину.

В последнюю весну его жизни 22 апреля, день его рождения, достойно и радостно праздновался в кругу

26 Лат.: милости природы.



всех его сотрапезников. Задолго до этого праздник стал приятным предметом наших разговоров, мы считали дни, которые оставались до него. Он заранее радовался ему. Но и это лишь подтверждало тот факт, что его теперешние радости скорее заключались в ожидании и приятных фантазиях, чем в самом наслаждении. Надежда увидеть подле себя своего старого друга, военного советника Ш.²⁷, в обществе которого он провёл так много радостных часов своей жизни в доме почившего к тому времени советника фон Гиппеля²⁸, необычайно поднимала его настроение. Даже известия о том, насколько продвинулись необходимые приготовления к этому празднику, вызывали у него радостный возглас: «О, это превосходно!» Когда же наступил этот день, и общество собралось, он стремился быть весёлым, но не получал истинного наслаждения. Шум, производимый беседой столь многочисленного общества, от которого он отвык, казалось, оглушал его, и появилось ощущение, что это было последнее собрание подобного рода и по такому поводу. Он по-настоящему пришёл в себя только когда, переодевшись, остался лишь со мной в своём кабинете, чтобы обсудить подарки, которые должны были получить его домочадцы. Ведь Кант радовался только тогда, когда убеждался, что и другие вокруг него довольны. Поэтому при каждом выезде на прогулку он настаивал на подарке для своего слуги. Я хотел дать ему насладиться покоем, как обычно, предложил свои услуги. Он всегда был против всего торжественного и необычного, против всяких поздравлений по подобным случаям и в особенности против царящего на них пафоса, в котором он неизменно видел нечто пресное и смешное. За мои скромные

27 Военный советник Иоганн Георг Шефнер (1736-1820), юрист, пробовал себя также в качестве поэта.

28 Теодор Готлиб фон Гиппель (1741-1796) – бургомистр Кёнигсберга, государственный служащий, писатель.



усилия при организации этого праздника он в этот раз отблагодарил меня совершенно непропорциональным образом, употребляя выражения, которые были лишь явными доказательствами одолевающей его слабости. Возможно, мысль о том, что он достиг столь почтенного возраста, сыграла свою роль в том, что он был так растроган и высказал свою благодарность в экзальтированных выражениях. Двадцать четвёртого апреля 1803 года он записал в свою книжицу: «По Библии, дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь»²⁹.

Приближалось лето, и теперь должны были начаться те дальние поездки по стране и за границу, которые были в проекте. Однажды, посетив его в ранний час, я был совершенно потрясён, когда он поручил мне со степенной серьёзностью и определённой решимостью взять часть его накоплений для покрытия издержек, связанных с предстоящей поездкой за границу. Я не возражал ему, но расспросил подробнее о причине такого внезапного решения, которая, как выяснилось, состояла в том, что он не мог более выносить вздутия на устье желудка. Я отвечал ему: «*post equitem sedet atra ciga*»³⁰; это касается и случая с его вздутием на устье желудка, от которого не так просто убежать. Цитаты из древних поэтов всегда производили впечатление на Канта, и та, которую я привёл, тоже очень быстро изменила его решение, которое он принял в слабости своей лишь потому, что не мог получить совета и не видел выхода, как устранить это вздутие. На повестке дня стоял разговор о многонедельном пребывании в деревне в маленьких крестьянских хижинах, об участии

²⁹ Псалтирь, Псалом 89, 10.

³⁰ Лат.: «Позади всадника сидит мрачная забота» (Гораций, Оды, III, 1, 37-40).



в трапезах с грубой деревенской едой, в обществе крыс, мышей и разных насекомых в грязных жилищах селян. Решительная серьёзность и трогательная тоска, с которой он заламывал руки и поднимал к небу глаза, моля о тепле, чтобы удались наши поездки, вселяли в меня сомнение, не следует ли, пусть и не в полном объёме, но хотя бы отчасти удовлетворить его желание путешествовать. Я предложил отправиться в загородный домик, в котором мы останавливались в прошлом году. «Хорошо, – ответил Кант, – только если это далеко». Я ответил: «Любой путь может быть долгим, если ехать в объезд, а наше пребывание там может продлиться до осени».

Достаточно поздно, примерно в то время, когда наступил самый длинный день в году, мы поехали в этот домик в деревне. При посадке в карету лозунгом было: «Только чтоб подальше!», – но мы ещё не выехали за ворота, а путь уже казался ему слишком длинным. С горем пополам мы добрались туда, лишь наполовину довольные. Кофе был готов, но он, не дав себе времени его выпить, настоял, чтобы мы снова сели в карету и поехали обратно. Слишком долгой показалась ему дорога домой, занявшая не более 20 минут. Его слабость, делавшая для него время таким длинным, превратилась в своего рода нетерпение, которое почти взяло над ним верх, но при этом он не пытался винить меня в предпринятой поездке или слишком долгим ожидании. «Когда же это закончится?» – этот вопрос он повторял каждую минуту. И повторял его с таким выражением, с такой декламацией, словно задавал его впервые. Но я при этом оставался совершенно спокоен, дал всему идти своим чередом, потому что хорошо знал, что как только он вернётся к своему обычному спокойному положению, всё забудется. Как он радовался, увидев



снова свой дом! Недовольный далёким путешествием и долгим отсутствием, он дал себя раздеть, стал спокойнее, тихо заснул, и его не тревожили и не пугали никакие сны. Вскоре после этого он снова с удвоенным энтузиазмом завёл разговор о поездках, дальних поездках, путешествиях за границу, но последующие выезды были весьма похожи на первый, за исключением небольших изменений. Мы совершили около восьми таких поездок, либо в тот домик, либо в мой сад, либо в другой, и это было всё, что мы предприняли в этом году. И эти поездки, особенно к загородному домику, были для него весьма полезны. Они заново вызвали в нём те идеи прежних лет его жизни, которые его весьма ободряли. Упомянутый загородный домик находился на холме под высокими ольхами. Внизу, в долине протекал маленький ручей с водопадом, шум которого привлекал Канта. Этот участок пробудил в нём дремавшую идею, которая стала развиваться с большой живостью. С почти поэтической живописностью, которой Кант обычно избегал в своих рассказах, он последовательно описывал мне удовольствие, которое ему доставляло прекрасное летнее утро в прежние годы его жизни, когда он, находясь в садовой беседке дворянского имения на высоких берегах Алле³¹, наслаждался чашкой кофе и выкуриванием трубки. Он вспоминал при этом о беседах в обществе хозяина дома и своего хорошего друга генерала фон Л.³² Всё это так явственно представлялось старику, будто вид этот был у него перед глазами, а этим обществом он всё ещё наслаждался. Чтобы по-настоящему подбодрить его, стоило лишь мимоходом завести разговор об этом, и

31 Рус. вариант названия: Лава. Имеется в виду поместье Гросс Вонсдорф (сегодня – Курортное).

32 Хозяин дома – барон Фридрих Вильгельм фон Шрёттер (1712-1790). Генерал фон Л. – Даниэль Фридрих фон Лоссов, часто приглашавший Канта в своё имение Клешауен (сегодня – Кутузово).



он тут же становился снова весел и радостен. Вообще ни одна самая приятная беседа не радовала его так, как рассказ о волнительных событиях прошлых лет. Иллюзия, что он сам вспоминал обо всём том, на что его наводил в разговорах кто-то другой, и осознание собственных сил, порождаемое ею, действовали на него в высшей степени благотворно и ободряюще. Пробудить это благотворное чувство было истинной заслугой, которой обладали все окружавшие его сотрапезники. Но необходимо было также знать до тонкостей его идеи, желания и события его жизни. Поэтому, перед тем как войти в его комнату, я осведомлялся обо всём, что произошло в моё отсутствие. Я старался узнать заранее о каждом сне, который он видел, о каждом желании, которое он выразил, о каждом происшествии, которое успело случиться. Поэтому я легко понимал его, несмотря на его теперешний способ неясно выражаться. Я заранее знал, что он хотел сказать. Иногда он в плохом настроении жаловался мне на свою слабость, но я отвлекал его от неприятных предметов, прерывая его вопросом из области физики или химии, стремился сделать увлекательным для него этот новый объект разговора; неприятный предмет забывался, а более приятный пробуждал новый интерес.

Этим летом мимолётное развлечение приносила ему, более чем обычно, музыка при разводе часовых. Когда парад проходил мимо его дома, он приказывал открывать среднюю дверь задней комнаты, в которой он жил, и внимательно и с удовольствием слушал. Казалось бы, глубокий метафизик может найти наслаждение только в музыке, отличающейся чистой гармонией, смелыми переходами и, конечно, разрешёнными диссонансами, или в произведениях



серьезных композиторов, таких, как Гайдн, – но это было не так, что подтвердило следующее обстоятельство. В 1795 году он навел меня вместе с ныне покойным тайным советником Гиппелем, чтобы послушать мой смычковый рояль. Адажио со вступлением флажолет, похожим по звуку на гармонию, показалось ему скорее отвратительным, чем безразличным, но когда открыли крышку и заиграли в полную мощь, инструмент ему весьма понравился, особенно подражание симфонии с целым оркестром. Он всегда с недовольством вспоминал, как присутствовал при исполнении траурной музыки Моисея Мендельсона, которая, по его собственному выражению, заключалась в бесконечном надоедливом визге. При этом он отметил, что мог бы предположить, что необходимо было выразить и другие ощущения, кроме, например, чувства победы над смертью (то есть героической музыки) или гордости свершения. Поэтому он уже намеревался пуститься наутёк. После этой кантаты он больше не посещал концертов, чтобы его не мучили подобные неприятные ощущения. Грохочущая военная музыка превалировала над всякой другой.

Примерно к концу лета, а особенно осенью, его слабость нарастала с невероятной быстротой. Если слуги не было дома, и Кант оставался один, он был в опасности, ведь в случае падения ему могла грозить смерть. Однажды в отсутствие прислуги он упал настолько сильно, что его лицо и спина были залиты кровью. После применения настойки Тедена, которую я тут же приобрёл, всё прошло и без врача. Он никогда не страдал от физической боли, и всё же принимал эту свою такую неожиданную судьбу с мужественным самообладанием и философской отрешённостью от



того, что теперь нельзя было изменить и конца чего нужно было спокойно дожидаться.

Но последний случай всё же показал, что ему опасно оставаться одному даже на мгновение. Получив предварительное разрешение, я взял к нему в дом его сестру – личность, похожую на него чертами лица и добротой, находившуюся в приюте госпиталя Святого Георга. Она уже многие годы получала от него пенсию в качестве прибавки, что позволяло ей с её скромными потребностями вести уютную и беззаботную жизнь. С возрастом её пенсия была увеличена вдвое, а когда она вошла в его дом, была ещё повышена. Уже много лет она была вдовой, муж её умер, не прожив с ней и года. Хотя она была всего на 6 лет моложе своего брата, она не только в полной степени сохранила свои духовные и телесные силы, но и была довольно оживлённой и бодрой. Кант не привык к тому, чтобы кто-то был с ним рядом, поэтому она, войдя в дом, заняла сначала место за его стулом, чтобы её присутствие не могло ему помешать. Всё больше и больше он привыкал к её обществу. Её скромное, сдержанное поведение, её внимательное отношение к моменту, когда брат не захочет более общаться, заставляло его ценить её. Она не только несла обязательство быть рядом с ним как его кровная родственница, но и как добрая и весьма сердечная женщина окружала его необходимыми для ухода при его возрастающей слабости терпением, кротостью и снисхождением. Хотя сначала, когда её приняли в дом Канта, речь шла всего лишь о её присутствии, она, будучи деятельной особой, не заставила дожидаться своей действительной помощи и поддержки, а посвятила себя ему с сестринской нежностью. Никогда не возникало между нами ничего вроде спора о границах наших сфер



ответственности, никогда не случилось раздора между ней и слугой Канта. Вообще Кант мог на неё положиться.

Всё, казалось, указывало на то, что нынешнее, наступающее лето будет последним летом в его жизни. Свой последний выезд он совершил в августе в сад своего уважаемого друга и частого сотрапезника советника Х. в обществе господина М.³³ Оба были на обеде у Канта, где и сделали ему предложение совершить эту поездку. Кант, привыкший ко мне, не хотел ехать без меня. Поэтому меня с огромной поспешностью отыскиали, и я принял в ней участие. Я не хотел пропустить её, потому что она была последней. Во время неё предполагалась встреча с его почтенным другом профессором Ш. Кант прибыл в сад раньше, чем его друг, но в связи со своей слабостью был совсем не расположен к общению. Поскольку он полностью потерял чувство времени, ожидание, пока прибудет друг, показалось ему слишком долгим, его невозможно было уговорить дожидаться друга, чтобы всё же его увидеть. Он с нетерпением торопился закончить свою последнюю экскурсию, как он называл свои выезды на природу. Остаток последнего летнего месяца больше не предоставил ни одного подходящего дня для выезда, так что в жизни Канта они закончились.

В свою часто упоминаемую книжицу Кант записал 17 августа следующий стишок: «Нас муки каждый день терзают, любой легко пересчитает, кому нас больше жаль. Раз месяц 30 дней включает, то всех нас меньше огорчает, конечно же, февраль». Следующий февраль был месяцем его смерти, в котором он претерпел последние и наименьшие муки в сравнении с мучившими его ранее головными болями, вздутиями на устье желудка и легко наступавшей дремотой в

³³ Вильям Мотерби (1776-1847) – друг Канта. В 1805 основал «Общество друзей Канта».



состоянии покоя. Если бы он записал эти строчки всего лишь на пять дней раньше, то получилось бы, что он держал эту похвальную речь ровно за полгода до месяца своей смерти. Никогда ранее ни от Канта, ни от кого-либо другого я не слышал этот стишок, и я не знаю, откуда он его взял³⁴.

И вот теперь, с приближением осени, наблюдая за Кантом, стало заметно, что он почти не мог пройти ни шагу, даже если его вели и поддерживали, почти не мог сам прямо сидеть, почти не мог уже внятно говорить из-за слабости, можно было подумать, что она уже не сможет возрасти, и сегодняшний день должен стать последним. Но каждый день доказывал обратное. Так же, как поздней осенью постепенно всё ниже опускается температура, но временами, когда на термометр падают солнечные лучи, столбик его поднимается, потом всегда снова опускаясь ещё ниже температуры, которую показывал до того, так же дело обстояло и с силами Канта. Его великий дух всё ещё время от времени героически стремился ввысь, но слабость тела пригибала его вниз, при каждом усилии оно теряло эластичность, не становясь, тем не менее, совершенно дряблым.

В начале осени значительно упало зрение его правого глаза. Левый уже давно не видел. Обнаружил он эту потерю зрения случайно, когда присел для отдыха на скамью во время прогулки. Его дух наблюдения всегда был деятелен, поэтому он провёл опыт, который часто до того сам с собой устраивал, каким глазом он лучше видит; он взял лист газеты, который как раз был у него с собой, закрыл один

³⁴ Стихотворение Георга Кристиана Бернарди (1722 – 1789) было опубликовано анонимно в 1750 году, возможно, поэтому его авторство не было известно Васянскому, цитирующему его с некоторыми искажениями. Текст стихотворения восходит к словам Евангелия от Матфея: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей работы» (Мф. 6:34).



свой глаз и обнаружил, к своему недоумению, что левым он больше ничего не может видеть. Он рассказывал мне о схожих странных событиях из прежних лет своей жизни. При возвращении с прогулки перед Штайндаммскими воротами он какое-то время видел башню Новоросгартенской церкви раздвоенной. Дважды в своей жизни он на несколько мгновений абсолютно ослеп. Насколько редки подобные явления, я оставляю решать врачам. Это и похожие происшествия немало беспокоили Канта, хотя он всегда был готов ко всему.

Теперь и его правый глаз стал настолько слабым, что он ничего больше не мог видеть на расстоянии. Меня очень беспокоило это обстоятельство, я думал о том, сколь ужасным будет его положение, если он полностью потеряет зрение. Сильное чувство беспомощности увеличивало его желания и требования, часто приводя меня в сильное замешательство. Он едва мог видеть, – настолько, чтобы немного читать и писать, – в то время, как ещё за несколько недель до нынешнего его состояния, он невооружённым глазом мог прочесть даже самый мелкий шрифт. Осенью он ещё писал так, как можно с закрытыми глазами поставить свою подпись, когда имеешь привычку к письму. Теперь он предъявлял серьёзные требования ко мне и к моему скромному мастерству. Я должен был придумать какое-то средство для утоления его стремления видеть, улучшить его оставшееся зрение и вообще привести его (каким способом, решать должен был я) в состояние, чтобы он мог читать. Для него не было ничего более скучного и невыносимого, чем когда ему читали вслух. Попытки этого рода, предпринимаемые другими, были прекращены в связи с его нежеланием. Как бы ни извинительно было его желание, как бы ни хотел я удовлетворить его хотя бы отчасти, но исполнение его



было для меня совершенно невозможно. Чем настойчивей он его повторял, тем мучительней становилось моё положение. Я предложил ему очки для чтения, но для него они были оковами, которые он не хотел на себя надевать. Очки были брошены, он совершенно не мог к ним приспособиться. Позвали окулиста, который попробовал подобрать стекла с разным фокусом, но Кант больше ничего не мог прочесть.

Теперь он требовал от меня, чтобы я сделал ему двойные или тройные очки, скрепляя их на соответствующем расстоянии друг от друга. Я считал это нецелесообразным, поскольку сквозь несколько стекол очков из-за слишком частого преломления лучей объекты должны казаться темнее, и увеличенное число выпуклых стёкол настолько сократило бы фокус, что из-за чрезмерно сильного приближения книги дневной свет не смог бы свободно падать на напечатанный текст. Был проведён эксперимент, при котором трое очков соединялись при помощи воска, и этот опыт доказал невозможность решения его задачи.

Проблемы Канта, касавшиеся механики, было не так уж легко разрешить с ожидаемым им успехом. Поскольку у него не было знаний практической механики, он часто требовал выполнения невозможных заданий. Приведу пример из прежних лет. Примерно десять лет тому назад он потребовал моего участия в изобретении и создании измерителя упругости воздуха. Две стеклянные трубки очень разного калибра, как у термометров, с цилиндрическими сосудами, нужно было приварить друг к другу, обе должны были быть открыты и согнуты под углом в 45 градусов. Более толстая трубка должна была быть диаметром примерно в четверть дюйма, более тонкая – толщиной в волос и наполовину заполнена



ртутью. Этот метеорологический инструмент должен был таким образом закрепляться на доске, чтобы более толстая трубка приняла перпендикулярное положение, а более тонкая, на которой должна была обозначаться шкала в 100 градусов, получала направление под углом 45 градусов. При уменьшающейся упругости воздуха ртуть³⁵ в меньшей трубке должен был сжиматься, а при увеличившейся расширяться. Я возражал против возможности такого успеха, который, насколько я знаю, противоречил бы закону, по которому *Tabi communicantes*³⁶, независимо от размера труб, уравнивают жидкость, находящуюся в них, за исключением разве что её прилипания к стеклу. Электрометр был готов, полученные посредством него наблюдения и результаты были записаны в календарь: «Электрометр показывает 49 градусов». На следующее утро это были 50 градусов. Кант хотел уже выкрикнуть своё «Эврика!», но он был не настолько близок к цели, как Архимед. Когда я обратил его внимание на увеличившуюся температуру в комнате, которая могла изменить вязкость ртути, он стал тих и печален. Были проведены опыты с электрометром, барометром, термометром и гидрометром, и не было замечено ничего определённого, никаких соответствий, кроме того, что в тепле и на холоде электрометр слабо работал в качестве термометра. Я не обошёл вниманием это обстоятельство, в том числе и для того, чтобы одна из идей Канта, которую он, возможно, ни с кем кроме меня не обсуждал, не пропала совершенно. Даже если тепло и холод, увеличившаяся сила тяжести или плотность воздуха могли повлиять на изменения в состоянии ртути по электрометру, даже если дело совершенно не было

³⁵ Имеется в виду ртуть.

³⁶ Сообщающиеся сосуды.



прояснено, то всё же и более тщательные проверки, и более точные наблюдения не принесли бы других результатов. Кант построил свою теорию и её возможную действенность на различной кривизне дуг сферического закругления ртути на обоих концах в трубках разного диаметра. Возможно, другой естествоиспытатель усовершенствует эту брошенную Кантом идею; или хотя бы желание Канта, исполнения которого он не видел на том пути, по которому шёл сам, послужит кому-то из физиков новым импульсом, побуждающим прийти к той же цели иным путём. Кант возлагал большие надежды на инструмент для использования в метеорологии, способный определять какое-либо качество воздуха хотя бы с некоторой определённой. Поэтому он попросил меня преодолеть сложности путём размышлений и опыта, чтобы приблизиться к цели; обещал при обнаружении открытия не умолчать о моём вкладе в него, не приписывать его себе самому, словно моя часть работы стоила бы упоминания таким человеком, или словно он был в состоянии приписать себе хотя бы крохотную часть чужой заслуги в том случае, если бы мне удалось хотя бы чего-то добиться в этом деле. Это последнее обстоятельство извиняет, возможно, отчасти то, что речь зашла об электрометре, упоминание о котором было бы излишним, если бы это высказывание Канта не показывало бы в благоприятном свете его скромность.

Эта его идея заставляет меня вспомнить о другой, которую, правда, тоже невозможно реализовать, но она остаётся весьма любопытной. В то время, когда господин доктор Хладный проводил в Кёнигсберге свои акустические эксперименты, он часто навещал меня и показывал мне некоторые приёмы, как представить звуки в видимой форме. После его отъезда в разговоре с Кантом



речь зашла об этих странных явлениях. Кант высоко оценивал это изобретение как открытие неизвестного доселе закона природы и предложил мне провести серьёзный физический опыт. А именно, он предложил направить солнечный микроскоп на оконное стекло, колеблющееся от звуков, производимых смычком, чтобы посмотреть, что за эффект на полотне произведут преломляющиеся через это волнообразно вибрирующее прозрачное тело под различными углами солнечные лучи. Мне, должен признаться, эта идея показалась сенсационной. Как только появилось солнце, я поспешил заняться опытами, которые, правда, при обычном устройстве солнечного микроскопа не смогли привести к каким-либо результатам. Я считаю, что эта идея тоже достойна того, чтобы её сохранить.

В последний год своей жизни Кант очень неохотно принимал визиты посторонних лиц и отказывался от них, насколько это было возможно. Когда путешествующие совершали на своём пути объезд во многие мили с тем лишь намерением, чтобы посмотреть на него, и обращались ко мне с большой любезностью, я часто был повергнут в смущение, как же устроить им доступ к Канту. Негативный ответ стоил мне больших усилий и создавал впечатление, что кто-то решил поважничать. Канту тяжело давалось, да ему и казалось унижительным, что теперь, когда он был не способен более к беседе, кто-то увидит проявления его слабости. Я мог бы привести достаточно примеров как скромности людей, так и их навязчивости. Вот лишь один из тех, которые относятся к первой категории. Большой поклонник Канта, доказавший, как он уважает этого человека, мужчина, связанный с ним общими интересами, прибыл сюда, чтобы вступить в важную должность, подал свою визитную карточку, но



преодолел своё желание нанести личный визит Канту, чтобы не потревожить его ни на мгновение. Если бы я знал об этом, пока Кант был жив, то мог бы, будучи осведомлён об образе мыслей Канта, ручаться за то, что он после такого проявления гуманности обязательно счёл бы необходимым познакомиться с этим своим коллегой и пригласил бы его в круг своих сотрапезников. Временами для меня было невозможным отказать его поклонникам в минутах общения с ним. Обычно он отвечал на комплимент, что кто-то рад видеть его: «В моём лице Вы видите старого, отжившего своё, немощного и слабого человека». Я был рад тому, что среди путешественников, проездом посещавших Канта, я познакомился с французским гражданином Отто, который заключил мир с лордом Хоксбери. Другой человек, искавший встречи с Кантом на склоне его жизни, также заслуживает того, чтобы о нём вспомнили. Это был молодой русский врач, который особым образом проявлял свой энтузиазм по отношению к Канту. Он с нетерпением ждал момента, чтобы быть ему представленным. Едва лишь он увидел Канта, как, в порыве глубочайшего почтения, бросился целовать ему руки, чтобы живо выразить свою радость. Кант, которого всегда смущало такое проявление уважения, и в этот раз почувствовал то же и не знал, как его избежать. На следующий день тот человек подходит к слуге, осведомляется, что делает Кант, спрашивает, может ли он в своём возрасте жить без забот, и просит единственный листочек, написанный собственноручно Кантом, на память. Слуга ищет на полу, находит там листок из предисловия к его «Антропологии», который Кант изъял, переделав иначе. Слуга показывает мне листок и получает разрешение отдать его. Когда он принёс листок молодому врачу на постоянный двор, тот



схватил листок с радостью, поцеловал его, в порыве энтузиазма снял с себя сюртук и жилет, отдал тут же слуге и то и другое, добавив сверху талер. Кант, весьма не любивший экзальтированные высказывания и преувеличения, а предпочитавший простоту, прямоту и естественность, удивился, хотя и с некоторой отстранённостью, но всё же и со своеобразным удовольствием, такому странному поведению своего юного почитателя.

Я перехожу теперь к новой эпохе в жизни Канта, в которой произошла полная перемена всего его прежнего положения. Самым важным днём в жизни, которую он вёл до сих пор, стало восьмое октября 1803 года. В этот день Кант впервые за всю его жизнь серьёзно заболел. В начале преподавательской деятельности у него случился холодный озноб, от которого он избавился, совершив загородную прогулку, выйдя через Бранденбургские ворота и войдя обратно в город через Фридландские ворота. В более поздние годы нашего общения он пострадал от сильной контузии головы, ударившись о дверь. Если угодно, можно назвать оба этих несчастных случая болезнями, но больше он, насколько он мог вспомнить, ни от чего не страдал. Но 8 октября подорвало основы его физического существования. Я буду вынужден затронуть некоторые, обычно не упоминаемые обстоятельства, чтобы рассказать об истории его болезни несколько подробнее. В последние месяцы аппетит Канта изменился, и его вкусовые пристрастия, его вкус превратился в безвкусицу. Он больше не хотел никаких блюд, зато появилась сильная тяга к хлебу с маслом, он опускал его кусочки в тёртый английский сыр и поедал с жадностью и наслаждением. Сначала во время трапезы, когда подавались другие блюда, ему казалось, что



время тянулось слишком долго, и он желал быстрее перейти к его любимому лакомству, позже он уже не дожидался перемены блюд, а между каждым блюдом просил подать эту вредную для него пищу и поглощал её большими порциями. Особенно это проявилось 7 октября, за день до его болезни, когда он между блюдами, которые отвергал, лакомился с избытком этой вредной для него едой. Я и другой его сотрапезник советовали ему отказаться от частого потребления жирной, тяжёлой и сухой пищи. Но тут он впервые сделал исключение из обычного правила одобрять и принимать мои предложения. С неистовством он настаивал на угождении своему испорченному вкусу. Думаю, я не ошибаюсь в том, что заметил впервые своего рода недовольство мной, которое должно было означать для меня, что я перехожу границы, которые он мне определил. Он сослался на то, что эта пища никогда не вредила ему и не могла навредить. Сыр был съеден, и нужно было натереть ещё. Мне пришлось замолчать и уступить, после того как я испробовал всё, чтобы отговорить его от этого.

Самые пагубные последствия, наставшие в арифметической прогрессии, не замедлили наступить. Печальному дню предшествовала беспокойная ночь. До 9 утра всё ещё было как обычно, но в это время Кант, которого поддерживала его сестра, внезапно соскользнул с её руки на пол. Позвали слугу. Было похоже, что Канта хватил удар. Его постель перенесли из холодной спальни в отапливаемый кабинет. Как только его уложили, слуга поспешил ко мне со срочным сообщением: господин находится при смерти. Я тотчас же послал за врачом, профессором Э.³⁷, и сам поторопился туда, нашёл Канта лежащим в своей постели без сознания,

37 Профессор медицины Кристоф Фридрих Эльснер (1749-1820), ставший к этому времени ректором Альбертины.



безмолвным и с остановившимся взглядом. Сколько бы его ни звали, всё громче и громче, никак не удавалось заставить его поднять взор. Врач спешно пришёл, но как раз перед тем, как он прибыл, не ослабленный никакими излишествами организм Канта помог сам себе невольным облегчением. Примерно через час он смог поднять глаза и издал невнятное бормотание, которое к вечеру, когда он подольше отдохнул, перешло в более внятную речь. Впервые в своей жизни он несколько дней лежал в постели и ничего не ел. Двенадцатого октября, в полдень, я был у него один, он съел одну ложку пищи и потребовал сыр и хлеб с маслом. Я решительно настроился ожидать от Канта всего что угодно, любых для меня последствий, лишь бы не позволить ему больше есть сыр. Я отговаривал его, приводя веские причины, и он прислушался к моим советам, поскольку я обрисовал ему последствия, к которым приведёт употребление такой пищи. Но он ничего не знал о своей болезни и посчитал моё утверждение, что несварение желудка, произошедшее от избыточного употребления сыра, легко могло стоить ему жизни, необоснованным, а моё решение лишить его этого лакомства – слишком жестоким. Несколько дней спустя он готов был дать гульден, талер и даже больше за кусочек сыра, добавив, что они ведь у него для этого и есть, – но я стойко сопротивлялся этому. Он разразился щемящими душу жалобами по поводу запрета на сыр, но постепенно полностью отвык от него, хотя по-прежнему часто вспоминал о нём. Я утверждал, что изготовление сыров относится к утраченным искусствам, о сыре не может больше быть и речи. С 13 октября стали снова приглашаться его обычные сотрапезники, ему стало лучше, но он редко приходил в то состояние бодрости, которое было свойственно ему до болезни.



Если раньше он любил растягивать трапезу, что называл *soenam ducere*³⁸, то теперь хотел закончить её как можно скорее. Блюда должны были быстро следовать одно за другим, и в два часа обед уже заканчивался. Встав из-за стола, то есть в два часа, он сразу отправлялся в постель, чтобы немного вздремнуть, но его пугали сны, которые можно было бы назвать фантазиями. В семь часов вечера начинало возрастать его беспокойство и продолжалось до пяти или шести часов утра, а иногда и дольше. Он то спокойно ходил туда-сюда по комнате, то на него наваливался страх, особенно после пробуждения.

С этого времени кому-нибудь приходилось быть с ним рядом все ночи напролёт. Его вечно неутомимый слуга, который был весь день занят делами, не выдержал вскоре такого напряжения, так что необходимо было взять помощника, который мог бы его подменять.

Хотя Кант в прежние годы не особо привечал родственников в своём окружении, – но не потому, что стыдился их (он был бесконечно выше таких слабостей), а потому что он не мог бы с ними общаться так, чтобы это приносило ему удовольствие, – всё же теперь я считал более благоразумным, по нескольким причинам, доверить его кровному родственнику, нежели чужому человеку. Для них это было не только прямой обязанностью, тем более что он оказывал им такую щедрую поддержку, но они также могли быть свидетелями моего отношения к Канту и моей заботы о нём и могли убедиться в том, что он ни в чём не испытывает недостатка; более того, что каждое его желание, не вредное для него, сразу же выполняется, а также в том, каких усилий требует забота о нём в его нынешнем состоянии. За приличное вознаграждение вдобавок к получаемой до сих пор пенсии и за щедрое угощение вечером сын его сестры бодрствовал подле него, подменяя

³⁸ Лат.: растягивать трапезу.



его слугу. Я твёрдо уверен, – и подтвердить это может любой из его беспристрастных сотрапезников, которые отчасти были свидетелями некоторых применяемых мной мер, – что уход за ним и обращение с ним были надлежащими, у него было всё, что человек его положения и состояния не только обязан был иметь, но и мог бы пожелать.

Восьмого октября здоровье Канта сильно ухудшилось, но силы его были ещё не до конца подорваны. Случались ещё моменты просветления, в которые его великий разум блистал, хоть и не столь ярко, как ранее, но всё ещё заметно, и тем сильнее был свет его доброго сердца. В те часы, когда слабость его отступала, он выражал свою признательность за каждую предпринятую меру, облегчающую его участь, благодарностью, трогательной по отношению ко мне и действенной по отношению к слуге, чьи героические усилия и неутомимую верность он вознаграждал весомыми подарками. Их вид и ценность он обсуждал со мной. Он часто стал произносить поговорку: «Кто скуп да жаден, тот в дружбе не ладен». Слова значат немного, но лицо этого почтенного человека, каждая черта которого выражала глубочайшее презрение по отношению ко всему, что даже только намекало на скупость, придавало этим словам особое значение. Деньги в его глазах не имели иной ценности, кроме как быть лишь средством, мудрое и целесообразное использование которого позволяет творить добро. Из своего бюджета, складывавшегося из состояния в 20 000 рейхсталеров и скромных доходов, которые приносила ему академическая деятельность, в последнее время несколько уменьшившихся по вышеуказанным причинам, он ежегодно перечислял на содержание своей семьи и в помощь бедным сумму, которую и более богатому нелегко пожертвовать. Это были тысяча сто двадцать три гульдена, которые выплачивались



мной в его присутствии частично ежеквартально, частично ежемесячно; сюда входила пенсия Лампе в 40 рейхсталеров, но не включалась помощь некоторым беднякам, которую они получали от него раз в неделю. Обычно в пожилом возрасте люди очень часто становятся скупыми, во всяком случае, стремятся во всё экономить; Кант в преклонные годы отличался благородной и мудрой щедростью. Только в период доверительных отношений я впервые узнал от него о суммах, которые получали его родственники, да и то лишь тогда, когда стал сам их выплачивать.

Надоедливым нищим попрошайкам он обычно ничего не давал, поскольку его благотворительность основывалась на определённых принципах. Он умел, несмотря на свою физическую немощь, дать серьёзный мужской отпор попрошайкам, мошенникам и подобным людям, которые хотели воспользоваться его слабостью. Ему хватало мужества и настойчивости, даже когда тело его одряхлело, нагнать страху на таких личностей. В последний год его жизни с таким отпором неожиданно столкнулась одна дама. Кант был один в своём кабинете. Двери, ведущие к нему с улицы, всегда были открыты. Когда домашние уходили за покупками, все комнаты запирались, кроме ведущих к нему. Однажды хорошо одетая женщина тихо и робко постучалась в дверь его комнаты. Вероятно, преувеличенные слухи о его слабости придали ей такой смелости. Кант воскликнул: «Войдите!» Когда Кант быстро поднялся из-за стола, она смутилась и спросила тихо, учтиво и пристыжено: «Который час?» Кант вытащил свои часы, держа их крепче, чем обычно, и ответил ей снова так же скромно, который час. Она учтиво откланялась и поблагодарила Канта за его доброту. Едва закрыв дверь, она вспомнила ещё об одной мелочи, о которой забыла. От имени своего соседа, которого она назвала, и который и прислал её сюда,



поскольку он хотел установить время на своих часах по часам Канта, она обратилась с просьбой позволить взять ненадолго его часы, ведь даже несколько минут пути не позволят установить время с точностью. И тут Кант ополчился на неё с таким негодованием, что ей пришлось спасаться бегством, а он, не понеся урона, утвердил свой статус победителя. В ту же минуту вошёл я, подкрепление немного запоздало, иначе её можно было бы легко поймать. Он рассказал мне о произошедшем приключении в радостном настроении. Я спросил его в шутку, что бы он стал делать, если бы дама была более отважна и действительно присвоила себе трофей? Он утверждал, что стал бы смело обороняться. Мне показалось, что победа в таком случае была бы на её стороне, а Кант в преклонном возрасте впервые в своей жизни был бы побеждён дамой. На эту историю похожа другая, которая приключилась почти в то же время. Другая женщина, также хорошо одетая, хотела обсудить с ним вопросы, только с глазу на глаз, без свидетелей. Кант, который ничего от меня не скрывал, отправил её ко мне. Я признал в ней патологическую обманщицу и вспомнил, что недавно она выманила у другой почтенной дамы 10 талеров, которые та дала ей действительно только потому, что была дома одна и боялась возможного насилия. Ей пришлось раскрыть своё намерение, которое состояло ни в чём ином, как в требовании вернуть дюжину серебряных ложек и несколько золотых колец, которые были её собственностью, и которые, по её словам, её бестолковый супруг заложил Канту без её ведома. Она могла бы пойти на уступки и, если эти предметы не сохранились, готова к тому, чтобы ей возместили их стоимость эквивалентной денежной суммой, что её вполне бы удовлетворило. Моим ответом на это требование был приказ слуге позвать комиссара полиции судебного округа. Она была в нерешительности и в явном замешательстве,



принимать ли эти меры на свой счет или сделать вид, что её пол, приличный костюм и невинность возвышают ее над подобными, не касающимися ее мероприятиями. Но ей показалось более подходящим прибегнуть к другому средству. Она стала умолять, описывать бедственное положение, в котором она находилась, чтобы оправдать свой необдуманый шаг, и была отпущена после утрашений и данного обещания никогда не переступать порог дома Канта.

После подобных отступлений я снова возвращаюсь к состоянию Канта. Его врач и ценимый им преданный друг посещал его так часто, как того требовало состояние его здоровья. Поскольку Кант, собственно, не был болен, а был только стар и слаб, врач давал ему только питательные, укрепляющие и успокаивающие средства и подходил к делу с похвальной осторожностью. Кант безропотно принимал теперь все лекарства, чего не случалось в прежние годы. «Я хочу умереть, – говорил Кант, – но не от медикаментов. Если я буду совсем болен и слаб, можете делать со мной всё, что хотите, я смирюсь со всем, что произойдет, но я не стану принимать мер предосторожности». Он вспоминал при этом об эпитафии на могиле одного человека, который, будучи здоровым, постоянно принимал лекарства, чтобы не заболеть, и чрезмерное их употребление сократило ему жизнь. Эта эпитафия гласила: «Н. Н. был здоров, но, поскольку он хотел быть здоровей здорового, он очутился здесь». Кант гордился тем, что ему не нужны были лекарства, давно не замечая того, что некоторые из них он ежедневно принимает, а именно три, а позднее четыре пилюли, которые он каждый раз проглатывал после еды. Они состояли из равных частей венецианского мыла, бычьей желчи, ревеня и руфинской пилюльной массы. Их посоветовал ему покойный Д. Труммер, его школьный друг, единственный, с которым он был на «ты». Опасаясь, что может забыть их



принять, он просил своих сотрапезников позаботиться о нём и напоминать ему об этом. В вопросах медицины Кант был еретиком. Он имел обыкновение говорить: «Всё, что продаётся, покупается и выдаётся в аптеке, pharmasop, venepum и яд – это синонимы». Он и раньше был склонен к ортодоксии в медицине и принимал для устранения вздутий на устье желудка несколько капель рома на сахаре по методу Брауна и описанные выше простые средства, которые должны были нейтрализовать кислоту в его желудке.

В декабре 1803 года он едва мог написать своё имя. Он видел так плохо, что не мог найти даже ложку, и когда я обедал у него, то размельчал ему еду, клал её в ложку и давал её ему в руку. Я объясняю себе то, что он не мог написать своё имя, следующим образом. Он больше не видит букв, которые пишет, а его память слишком слаба, так что буквы, которые он интуитивно пишет, он снова забывает, чего бы не случилось, если бы он видел. Произнесение букв вслух также было бесполезным, поскольку ему не доставало воображения представить себе их начертание. Уже в конце ноября я увидел в этом знак быстро надвигающейся на него судьбы. Поэтому я уже сейчас заполнил квитанции на выплату процентов в новом году, и он подписал их пока ещё довольно чисто. Позднее, когда он подписывал бумаги, его имя было написано настолько неразборчиво, что я опасался сомнений со стороны высших инстанций в подлинности его подписи. Он решил составить на меня генеральную доверенность. Подпись под этим документом является последним росчерком пера, принадлежавшим руке Канта. Только крайняя необходимость подтолкнула меня к этой мере, которой я воспользовался позднее.

Как бы ни был Кант теперь слаб, он всё же был способен иногда радоваться. Он всякий раз воодушевлялся, когда вспоминал о дне рождения, и я прилежно



высчитывал, сколько ещё нужно ждать, пока ему исполнится 80 лет. Так случилось и за несколько недель до его смерти. Я пытался развеселить его напоминанием об этой дате. Тогда у него снова соберутся друзья, – говорил я, – чтобы выпить бокал шампанского за его здоровье. «Пусть это произойдёт сегодня, здесь и сейчас», – был его ответ. Он продолжал настаивать до тех пор, пока его желание не было выполнено, выпил за здоровье своих друзей и был в тот день поистине радостен.

Свойственный ему дар выражаться эмоционально, но без аффектации, он сохранил и в преклонном возрасте. В прежние времена он умел, приятно изумляя окружающих, отчётливо расставить акценты и подчеркнуть интонацией то, чему он придавал особое значение. Этот присущий ему талант нельзя было назвать ни патетической декламацией, ни искусственной жестикуляцией; с особенной живостью, теплотой и убедительностью он рассказывал о том своём опыте, который поверг его в изумление. Речь зашла об удивительном инстинкте животных и о следующем случае: прохладным летом, когда насекомых было немного, Кант заметил целую колонию ласточкиных гнёзд на здании склада муки у Лицента, несколько разбившихся птенцов лежали на земле. Поражённый этим случаем, он стал наблюдать с величайшим вниманием за ласточками и увидел, не поверив вначале своим глазам, что ласточки сами выбрасывали своих птенцов из гнезда. В изумлении от этого природного инстинкта, похожего на разум, научившего ласточек при недостатке доступного питания для всех птенцов пожертвовать несколькими, чтобы сохранить остальных, Кант сказал тогда: «Тут мой разум умолк, поскольку не оставалось ничего, лишь преклониться и вознести хвалу». Он произнёс это с неописуемым и



неподражаемым выражением. Высокое благоговение, озарившее его почтенное лицо, интонации его голоса, то, как он сложил руки, энтузиазм, с которым произносились эти слова, – всё это было неповторимо.

Столь же ласковым и нежным было его лицо, когда он с искренним восхищением рассказывал о том, как однажды он держал в руках ласточку и смотрел ей в глаза, и у него было такое чувство, словно он глядел в небеса.

Ему удавалось и комическое подражание диалектам разных народов. Я мог бы привести здесь забавный диалог на восточном наречии, который я пропущу, поскольку он очень уж смешон, но сотрапезники Канта наверняка помнят его. Он был мастером подобных шуток и в последние годы жизни ещё записал в свою книжицу: «клиентвейн и заржавленный хлеб», – так один француз назвал глинтвейн и обжаренный хлеб, потребовав их у хозяина харчевни.

Его последний труд и единственный манускрипт, в котором речь должна была идти о переходе от метафизики природы к физике, остался неоконченным. Насколько свободно я мог говорить о его грядущей смерти и обо всём том, что надлежало мне сделать после неё, согласно его пожеланиям, настолько неохотно обсуждал он дальнейшую судьбу своего манускрипта. То он считал, что не может больше сам судить о написанном, что всё уже закончено и требуются лишь последние завершающие штрихи, то согласно его воле надо было сжечь манускрипт после его смерти. Я дал эту работу его другу профессору Ш., ученому, чтоб тот оценил её; как считал Кант, он лучше всего толковал его сочинения. Он выразил мнение, что это лишь самое начало труда, вступление к которому ещё не дописано и не подлежит редакции. Усилия, которые Кант затрачивал на этот труд, вскоре подорвали остатки его силы. Он считал



его своим главным сочинением, но, вероятно, его немощь сыграла важную роль в такой оценке.

Речь Канта, особенно в последние недели его жизни, стала очень невразумительной. С 8 октября он больше не ночевал в своей спальне. Поскольку в этой комнате была печь зелёного цвета, вместо «идти спать» он говорил «идти к зелёной печи». Заметим, что великий мыслитель теперь был не в состоянии понять выражения из обыденной жизни. За его столом часто царила мёртвая тишина, сменившая бодрое жизнерадостное общение. Он был недоволен, когда оба его гостя начинали за столом вести беседу друг с другом, а он играл при этом немую роль, вовлечь же его самого в разговор стоило больших усилий, поскольку его слух, ранее чуткий, стал ухудшаться, и он выражал свои даже самые верные мысли крайне невнятно. Несколько таких примеров не смогут умалить величия этого человека, хотя надо сказать, что рассказ потребует использования некоторых выражений, взятых из самой обыденной жизни. Намерение показать, как изъяснялся в конце жизни этот великий человек, позволит оправдать употребление здесь этих слов. Он говорил очень иносказательно, но при всём несовершенстве высказывания всё же сохранялась взаимосвязь между словом и обозначаемой им вещью. Когда за столом говорили о высадке французов в Англии, в разговоре были упомянуты море и суша. Кант сказал (не в шутку), что в его тарелке слишком много моря и слишком мало суши, он давал этим понять, что жидкости в ней очень много, а гущи мало. В другой полдень, когда ему подали с пудингом печёные фрукты, разрезанные на мелкие кусочки разного размера, он сказал, что ему недостает фигуры, определённой фигуры. Имелась в виду форма фруктов.



Необходимо было каждый день общаться с ним, чтобы понимать его косноязычную речь, тем не менее, у него ещё сохранялось своеобразное чувство юмора: крупица золота всё ещё поблёскивала. Если во время его наибольшей слабости, когда он не мог понятно выразиться о самых обыкновенных вещах, его спрашивали о предметах из области физической географии, естественной истории или химии, он даже после 8 октября давал на удивление определённые и верные ответы. Виды газов и их состав были ему настолько хорошо известны, что даже в последние годы его жизни с ним можно было поговорить об этом, получив полное удовлетворение от его разъяснений. Об аналогиях Кеплера он мог рассказать, даже будучи совершенно немощным. В последний понедельник его жизни, когда слабость его стала заметна сотрапезникам, что тронуло их до глубины души, и когда он не мог более понять, о чём с ним говорят, я тихо сказал одному из гостей: «Если мне будет позволено перевести разговор на научные темы, я ручаюсь, что Кант всё поймёт и поддержит беседу». Другу Канта это показалось невероятным. Я сделал попытку и спросил у Канта что-то о берберийцах. Он вкратце рассказал об их образе жизни и при этом заметил, что в слове Алжир «ж» нужно было бы произносить как «г».

Занятия Канта в последние две недели его жизни были не только бесцельными, но и нецелесообразными. Например, шейный платок нужно было много раз подряд снимать и перевязывать заново. То же касалось платка, который он в течение многих лет носил вместо пояса поверх шлафрока. Как только он застёгивал последний, тут же начинал нетерпеливо расстёгивать, а потом снова застёгивал. Было ли это последствием нетерпения, спазмов или выражением боли, чувствовать которую Кант не мог, поскольку его нервы были к ней уже невосприимчивы?



Об этом должен судить врач и физиолог, но описание этого нетерпения лишь слабо может передать то усердие, с которым Кант, словно это было важнейшим занятием, расстёгивал и застёгивал снова и снова свою одежду.

Он перестал узнавать тех, кто был рядом с ним. Сначала это коснулось его сестры, потом – меня, позже всех – его слуги. Эта высшая степень его немощи была для меня весьма болезненна. Избалованный его обычно столь лестными высказываниями, я с трудом мог выносить его нынешнее равнодушное ко мне отношение, хотя и знал, что он не лишил меня своего благоволения. Но тем радостнее были для меня моменты, когда разум к нему возвращался, печалило лишь то, что они стали такими редкими. Для каждого из его сотрапезников было и трогательно и грустно видеть его столь беспомощным. Человек, привыкший к постоянной деятельности, избегавший любого комфорта, проводивший бóльшую часть своей жизни на своём стуле, едва мог удерживаться в кресле с подушками. Ссутулившийся, ушедший в себя, как во сне сидел он за столом, не принимая участия в разговорах собравшегося общества, в конце даже не претендуя на то, чтобы его развлекали. Он, умевший поддержать поучительный и приятный разговор в самом блистательном обществе благороднейших и учёнейших мужей, больше не мог уловить нить разговора об обыкновеннейших вещах и постоянно повторялся. Один учёный из Берлина, будучи здесь проездом, нанёс ему визит позапрошлым летом и сказал потом, что видел не Канта, а лишь его телесную оболочку; а ведь каким был Кант тогда, и каким он стал теперь?

И вот наступил февраль, о котором он сказал, как было замечено выше, что в этом месяце, насчитывающем меньше всего дней, и страданий будет меньше всего.



Он пережил в том феврале самые большие страдания в своей жизни, но и длился этот месяц для него всего 12 дней. Его тело, о котором он привык говорить, что оно маленькое, как в голодное время, и которое он называл своим бедолагой, на удивление исхудало. Хоть и говорят о смерти, что она не знает пощады, о Канте можно было сказать, что он уже за несколько дней до своей кончины, по сути, был полумёртв. Он вёл разве что растительное существование, и, тем не менее, случались моменты, когда он мог осознанно воспринимать мир и предаваться рефлексии.

Третьего февраля казалось, все жизненные силы полностью иссякли, потому что с этого дня он ничего больше не ел. Его существование, видимо, поддерживалось лишь силой инерции после 80 лет движения. Его врач договорился со мной, что будет посещать его в определённый час, он хотел, чтобы при этом присутствовал. Я не знаю, помнил ли Кант или забыл о том, что я ему сказал, а именно, что его врач великодушно отказался от любого вознаграждения, и даже то, которое ему уже выплатили, он вернул с трогательной запиской. В любом случае, Кант был глубоко проникнут чувством почтения и благодарности по отношению к своему коллеге. Когда тот посетил Канта, который почти не мог видеть, за девять дней до его смерти, я сказал ему, что пришёл его врач. Кант поднялся со стула, протянул ему правую руку и стал говорить о poste, многократно повторяя это слово с такой интонацией, словно прося помощи. Врач успокоил его тем, что на почте всё в порядке, поскольку посчитал его высказывание фантазией. Кант продолжал говорить о «постах, ответственных постах, снова будет много доброты, много благодарности», всё это бессвязно, но всё с большей теплотой и осознанностью. Я тем временем хорошо понял,



что он имел в виду. Он хотел сказать, что врач, занимающий много ответственных постов, особенно в ректорате, чрезвычайно добр, посещая его. «Совершенно верно», – был ответ Канта, все ещё стоящего рядом и почти падающего от слабости. Врач попросил его присесть. Кант смущённо медлил, испытывая беспокойство. Я слишком хорошо был знаком с его образом мыслей, чтобы сомневаться в настоящей причине промедления, почему Кант не изменил утомляющего и ослабляющего его положения. Я указал врачу на истинную причину, а именно на деликатную манеру мысли Канта и на его учтивое поведение, и заверил его в том, что Кант тут же сядет, если он, как гость, займёт своё место первым. Врач засомневался в сказанном, но вскоре смог убедиться в верности моего утверждения и был тронут почти до слёз, когда Кант, собрав все свои силы, сказал с твёрдостью, давшей ему с трудом: «Чувство гуманности ещё не покинуло меня». «Что за благородный, деликатный и добрый человек!», – воскликнули мы одновременно.

Наступило время идти к столу, и врач нас покинул. Пришёл второй сотрапезник. После того, что я услышал, я надеялся, что можно рассчитывать на поистине радостный полдень, но напрасно. Кант в течение нескольких недель находил все блюда безвкусными. Я пытался усилить их вкус с помощью таких безвредных специй, как мускатный орех или корица, добавляя их в блюда. Эффект был кратковременным. В тот день не помогло ничего, содержимое ложки, которое он пытался съесть, он так и не проглотил, а выплюнул обратно. Даже его любимые лёгкие блюда, – бисквит, мякиш от булки – не были ему вкусны. Я слышал от него самого в прежние времена, что некоторые из его знакомых, умерших, собственно, в маразме, хоть и не чувствовали боли, но



в течение трёх или пяти дней у них не было ни аппетита, ни сна, а потом они тихо заснули, чтоб не проснуться. Я боялся, что и с ним произойдет подобное. В следующую субботу я с сожалением выслушал высказанное вслух сомнение его сотрапезников, что им, вероятно, не придётся уже с ним обедать, и согласился с их мнением. В воскресенье, 5 февраля, я обедал вместе с его другом, советником В. Кант был так слаб, что совершенно обессилел. За столом я поправил ему подушки, поскольку он завалился на бок, и сказал: «Теперь всё в полном порядке». “*Testudine et Facie*”³⁹, – сказал Кант: «как в боевом порядке». Совершенно неожиданным было для нас это выражение, которое стало последней латинской фразой, которую он произнёс. Он и сейчас не ел, блюда ожидала та же участь, что и в предыдущие два дня. В понедельник, 6 февраля, он стал ещё слабее и безучастнее, ушёл в себя, сидел с неподвижным взором, ничего не говоря. Нам не хватало его самого, не принимавшего участия в беседах, казалось, что это лишь тень его сидела среди нас, и всё же иногда, когда речь заходила о научных предметах, он подавал знаки своего присутствия.

С этого времени Кант стал гораздо спокойнее и мягче. Ранее, со времен борьбы силы духа и благой природы, с одной стороны, и всё ближе надвигающегося возраста с другой стороны, Кант был пресыщен и жизнью, и радостью, не знал, как быть с собой и своим временем, и был не в состоянии понятно изъясняться. Поэтому он получал вещи, которых не желал, но ему приходилось обходиться без тех вещей, которые он хотел бы иметь, потому что он не мог их назвать. Эти недоразумения привели к тому, что он стал грубо излагать свои просьбы, употребляя слова, которые ранее считал бы плебейскими. Человек, выражавшийся в прежние годы даже наедине с собой столь деликатно и гуманно, что, когда писал заметки (которые едва могли попасть в

39 Лат.: со щитом и во всём блеске.



чужие руки и предназначались ему самому) относительно того, с какой просьбой он хотел бы обратиться к своим друзьям, записывал он их следующим образом: «Попросить господина Н. Н., не будет ли он так любезен» и т.д., – такой человек наверняка заслуживает снисхождения, когда в преклонном возрасте начинает обращаться к людям пусть не грубо, но резко. Только внешнее выражение стало менее отшлифованным, намерение же никогда не таило в себе злобы. Борьба его натуры с возрастом привела к некоторым, хотя и нечастым, проявлениям возмущения; теперь же силы его полностью иссякли, он больше не кипятился, как это происходит порой во время химических процессов. Если иногда он и прикрикивал на слугу, то тут же успокаивался. По нему было заметно, что злоба была свойственна ему меньше всего на свете. Он так странно себя при этом вёл, что сразу становилось понятно, что роль эта совершенно ему не привычна. Желать разозлиться, но не уметь этого, – такое качество придавало ему особую любезность, поскольку выражение недовольства никак не подходило к его кроткому, приветливому лицу, запечатлевшему черты доброты. Его слуга прекрасно знал, как обстояло дело и как ему относиться к подобным проявлениям недовольства. В последние дни жизни Кант не высказывал неудовлетворённости, весьма заметной в предыдущие месяцы.

Теперь я посещал его трижды в день, приходил к нему также после трапезы и во вторник, 7 февраля, застал обоих его сотрапезников за столом одних. Кант же находился в постели. Такого раньше не происходило, поэтому случай этот усилил наши опасения, что конец его близок. На следующий день в полдень я всё ещё не решался оставить его, требующего частого отдыха, без общения, велел подать только суп и предполагал быть его единственным гостем. Я пришёл в час дня, решительно заговорил с ним, велел



накрывать на стол; он хотя и поднёс ложку ко рту, как это было, начиная с третьего февраля, но не удержал её и поспешил в постель, с которой больше не вставал, словно какая-то потребность заставила его прилечь на минутку.

В четверг, 9 февраля, слабость его достигла степени, характерной для умирающего, и черты смерти стали отражаться в его облике. Я часто навещал его в течение этого дня, зашёл к нему и в десять вечера. Кант был без сознания. Он не отвечал ни на какие вопросы. Я покинул его, не получив подтверждения, что он меня узнаёт, и препоручил его обоим родственникам и слуге.

В пятницу, в шесть часов утра, я снова пошёл к нему. Утром разразилась буря, а ночью выпало много снега. В ту ночь воры ворвались к нему во двор, чтобы проникнуть оттуда к его соседу, золотых дел мастеру. Когда я подошёл к его кровати, я пожелал ему доброго утра. Неотчётливо, надломленным голосом он ответил на моё приветствие подобным же образом: «Доброе утро». Я был рад видеть его снова в сознании, спросил, узнаёт ли он меня, он ответил: «Да», – протянул руку и нежно погладил меня по щеке. Во время других моих визитов в тот день он больше не приходил в сознание.

В субботу, 11 февраля, он лежал с потухшими глазами, но, казалось, был спокоен. Я спросил его, узнаёт ли он меня. Он не смог ответить, но подставил мне губы для поцелуя. Я был глубоко тронут, он ещё раз подставил мне свои бледные губы. Я почти осмелился предположить, что ему было важно попрощаться со мной и выразить благодарность за многолетнюю дружбу и помощь. Не припомню, чтобы он достаивал поцелуя кого-либо из своих друзей, во всяком случае, никогда не видел, чтоб он кого-то из них целовал. И меня тоже, кроме одного раза, когда за несколько недель до его смерти он поцеловал



меня и свою сестру. Но мне казалось, что тогда, в слабости своей, он не понимал, что делает. Принимая во внимание все обстоятельства, я испытываю искушение расценить это последнее волеизъявление как знак дружбы, которую вскоре должна оборвать смерть. Этот поцелуй был также последним знаком того, что он всё ещё узнает меня.

Сироп, который ему часто давали, проходил с трудом и шумом, как это часто бывает у умирающих; присутствовали все признаки приближающейся смерти. Жуткую картину представляло смертное ложе великого человека, освещённое слабым светом солнца, погружающегося во тьму.

Я желал остаться с ним до конца и, поскольку я был свидетелем части его жизни, хотел стать и свидетелем его смерти, так что от его смертного одра меня отрывали только служебные дела. Поскольку и обстоятельства, и посещавший его теперь ежедневно врач говорили о том, что жизнь его стремится к своему финалу, я решил быть с ним как можно дольше, чтобы протянуть ему руку дружбы как последнее утешение и ею же закрыть ему глаза. Последнюю ночь я провёл у его постели. Весь день он пролежал в бессознательном состоянии, но в последний вечер подал внятный знак, что ему необходимо покинуть постель в связи с определёнными потребностями; но попытка оказалась безуспешной, и его в последний раз отнесли в постель, которую, пока он из нее отлучался, как можно быстрее привели в порядок. У него уже не хватало сил помочь самому себе. Он не спал, его состояние скорее напоминало обморок, чем слабость. Протянутую ему ложку с сиропом он оттолкнул, но в час ночи он склонился в поисках ложки. Из этого я сделал вывод, что он испытывает жажду, и протянул ему подслащённое вино, разбавленное водой. Он приблизился



губами к стакану и, когда от слабости не мог удержать напиток во рту, стал прикрывать рот рукой, пока шумно не проглотил всё содержимое. Он просил ещё, и я давал ему пить снова и снова, пока освежающий напиток не придал ему сил, и он нечётко, но понятно для меня произнес: «Хорошо». Это были последние его слова. Несколько раз он сбрасывал одеяло из гагачьего пуха, обнажая тело. Я пытался предотвратить переохлаждение и накрывал его снова. Всё его тело и конечности были уже холодными, пульс – прерывистым.

Двенадцатого, без четверти четыре утра он лёг так, словно готовился к великому акту – приходу своей смерти, и придал телу совершенно неизменное положение, оно оставалось неподвижно вплоть до самой смерти. Пульс больше не прощупывался ни на руках, ни на ногах, ни на шее. Я проверил каждое место, где можно было услышать биение пульса, и нашёл сильную, но часто пропадавшую пульсацию только на левом бедре.

В 10 часов утра его облик заметно изменился, глаза совершенно застыли, взгляд угас, смертельная бледность разлилась по лицу и губам, но нигде не было заметно ни малейшего следа смертной испарины. Действие средств, применявшихся для того, чтобы избежать появления пота, продолжалось вплоть до самой смерти. Около 11 часов, казалось, что последнее мгновение его жизни приблизилось. Его сестра стояла в ногах его постели, её сын – у изголовья. Чтобы не выпускать Канта из виду и наблюдать за пульсом на бедре, я присел у его постели, поскольку его тело, скрюченное старостью, не позволяло стоя видеть его лицо. Я позвал его слугу, чтобы он стал свидетелем смерти своего господина. Настал момент, когда прекращались жизненные процессы. И тут в комнату вошёл замечательный друг Канта советник В.,



за которым я перед тем велел послать. Дыхание Канта ослабело, утратило обычный ритм, он перестал вдыхать, его верхняя губа едва заметно дёрнулась, пульс бился ещё несколько секунд, но всё медленнее и слабее, мгновение – и он больше не прощупывался, механизм остановился, последнее движение машины прекратилось. Его смерть была завершением жизни, а не насильственным актом природы. В тот же момент часы пробили одиннадцать. Все предпринятые попытки найти какие-то признаки жизни ни к чему не привели, всё указывало на его смерть. Ощущение, охватившее меня и его друга, сложно описать словами, оно было единственным в своем роде. Я не сразу смог освободиться от иллюзии, что его пульс ещё бьётся, когда нащупываю его своей рукой.

Не успело последнее дыхание слететь с уст Канта, как в тот же миг в комнату зашёл врач, зафиксировавший после надлежащего осмотра его смерть. Отправив объявление о смерти Канта, я с тяжёлым сердцем поспешил домой, поскольку пришло время заняться своими служебными обязанностями. Пока я их не завершил, полностью прикрытое тело Канта оставалось в постели. Один из сотрапезников Канта и его родственники наблюдали за его телом, проверяя, не появятся ли какие-то признаки жизни. Ко времени моего возвращения таковых не обнаружилось. Когда я пришёл, голова его была обстрижена и подготовлена к изготовлению гипсового слепка, который выполнил профессор Кнорр. Строение его черепа было, по общему мнению тех, кто не был посвящён в исследования Галля о тайнах природы, особенно соразмерно. Не только лицо его, но и голова имела такую форму, словно специально предназначалась для того, чтобы украсить собой коллекцию слепков с черепов, собранную доктором Галлем.



Тело его, облачённое в последние одежды, поместили теперь в его бывшей столовой. Огромные толпы людей из высших и низших слоев общества потоком текли туда, чтобы посмотреть на брэнную оболочку, которая некогда заключала в себе великий дух Канта. Насколько я стремился раньше, учитывая пожелания Канта не нарушать его покой, оградить его от назойливого внимания незнакомых ему людей, движимых лишь любопытством, – настолько неуместным считал теперь отказать кому бы то ни было в желании взглянуть на его тело. Все стремились сюда, чтобы использовать последнюю возможность увидеть его и сказать когда-нибудь: «Я видел Канта». Много дней подряд совершалось это паломничество к нему. С утра до позднего вечера комната наполнялась то бóльшим, то меньшим количеством посетителей. Многие приходили дважды или трижды, и за много дней публика так до конца и не утолила своё стремление увидеть его. Поскольку никто не рассчитывал на то, что будет открыт доступ к телу, но так как многие потянулись к его брэнной оболочке, я старался не упустить ничего из того, чего требовали приличия. Я распорядился взять напрокат чёрное траурное покрывало, чтобы положить на него тело. Мастерская, в которой я одолжил покрывало, получала в день по талеру. К нему прилагалось ещё и прекрасное белое покрывало с брабантскими кружевами, и оба старейшины брали всего по гульдену в день, потому что оно предназначалось для Канта.

К ногам Канта один поэт положил стихотворение с посвящением: «Душе умершего Канта». Оно, вероятно, было прекрасным, но ни я, ни кто-либо из моих друзей и знакомых не мог понять столь возвышенный слог. Во всяком случае, оно было написано с добрыми



намерениями, и скромность, с которой поэт возложил это стихотворение, делала ему честь.

Полностью иссохшее тело Канта вызывало удивление, и, по общему признанию, никто ещё не видел столь мало подвергшийся тлену труп.

Наилучшее применение нашла и подушка, на которой студенты некогда поднесли Канту стихотворение, она удостоилась особой чести: на ней покоилась голова Канта, а затем я распорядился положить её к нему во гроб.

Относительно того, как должны проходить его похороны, Кант выразил свою волю на листке форматом в восьмую долю. Он хотел быть погребённым ранним утром, в полной тишине, в сопровождении лишь своих сотрапезников. Я нашёл это распоряжение, когда знакомился с его бумагами. Тогда я открыто высказал ему своё мнение, что это предписание слишком ограничит меня как распорядителя похорон, что обстоятельства, которые невозможно предусмотреть заранее, могут поставить меня в затруднительное положение. Кант не придал никакого значения этой бумажке, разорвал её и целиком и полностью возложил на меня ответственность относительно устройства его похорон, ничего не предрешая. Мы больше никогда не возвращались к этому вопросу. Легко было предположить, что студенты не позволят лишиться их возможности отдать Канту почести после его смерти. Это предположение подтвердилось сверх всяких ожиданий. Таких похорон, проходивших с самыми явными знаками высочайшего признания, с помпой и со вкусом, объединившимися в этом чествовании, жителям Кёнигсберга видеть ещё не приходилось. Все газеты, а в особенности специальный листок, уведомляли подробнейшим образом о поминании Канта. Небольшого сообщения достаточно будет для того, чтобы показать, насколько все стремились



воздать почести праху Канта. Двадцать восьмого февраля в два часа дня все представители высшего сословия, не только из города, но и многие из окрестностей, собрались в здешней замковой церкви, чтобы сопроводить брэнную оболочку Канта к месту погребения. Со вкусом одетая для торжественного шествия академическая молодёжь, двигавшаяся от университетской площади, присоединилась к процессии возле замковой церкви. Когда они достигли дома покойного, тело было передано им под звон всех колоколов города. Нескончаемая процессия, в которой вместе шли люди без разграничения сословий, потянулась, сопровождаемая тысячами примкнувших к ней, в Кафедральный собор, служивший церковью университета. Несколько сотен восковых свечей освещали его. Катафалк, покрытый чёрной материей, производил величественное впечатление. Торжественная, прекрасно исполненная кантата и две произнесённые речи способствовали возвышенному состоянию духа у всех присутствующих. Во время одной из речей куратор академии передал от студентов стихотворение на смерть Канта. После того, как торжества закончились, брэнная оболочка Канта, покинутая его душой, была похоронена в университетском склепе, где теперь прах его смешивается с останками отцов-предшественников академии. Покойся с миром!

Перевод Анжелики Васкиневич

*Примечания профессора Вернера Штарка (Марбург),
Герффрида Хорста (Берлин), Анжелики Васкиневич
(Калининград)*



ПИСЬМА СОЧИНЕНИЯ ИММАНУИЛА КАНТА

*Издание Королевской прусской академии.
Берлин, 1902. Т. 12*

643

ЭРЕГОТУ АНДРЕАСУ КРИСТОФУ ВАСЯНСКОМУ

15 сентября 1795

*Ваше Высокопреподобие,
не будет ли Вам угодно позволить мне ввести в Ваш дом господина тайного советника фон Гиппеля, наряду с некоторыми иными друзьями, дабы послушать Ваш прекрасный инструмент. Господин фон Гиппель считает наиболее подходящим завтрашний день (среду), он желал бы нанести Вам визит около четырёх часов дня, по поводу чего я надеюсь получить от Вас благожелательный ответ. С величайшим уважением,*

*вечный покорный слуга
Вашего Высокопреподобия, И. Кант
15 сентября 1795*



841

ЭРЕГОТУ АНДРЕАСУ КРИСТОФУ ВАСЯНСКОМУ

12 декабря 1800

К просьбе удостоить меня чести составить мне компанию сегодня за обедом покорнейше присовокупляю вторую, а именно заказать пошив второй шторы из зелёной тафты для моего второго окна справа, с такими же латунными кольцами, поскольку солнце падает наискось справа и не даёт мне находиться за моим письменным столом. Возможно, было бы наилучшим вовсе выкинуть старую штору и повесить новую, настолько широкую, чтобы она могла закрыть оба окна сразу, и пропустить слева и справа через кольца длинный шнур. Ваш острый взгляд художника сможет придать этим вещам соответствующий масштаб.

*С дружеским доверием и величайшей преданностью,
Ваш покорный слуга И. Кант*

*Кёнигсберг,
12 декабря 1800*

ОТ ЭРЕГОТА АНДРЕАСА КРИСТОФА ВАСЯНСКОГО

19 декабря 1800

Ваше благородие,

имею честь покорнейше сообщить Вам, что катар и сопровождающийся болями в груди кашель помешали мне, начиная уже со вторника, выходить из дому; иначе я непременно с великим удовольствием воспользовался бы, как обычно, Вашей добротой. Что касается пункта о занавешивании окна, я должен ознакомить Ваше благородие со своим только что полученным опытом. Несколько лет у меня во многих помещениях двойные окна, и никогда они не запотевали снаружи, только внутри при большом морозе. Этой зимой я в третий раз заклеил внешние окна, и при этом морозе они ещё не запотевали, но обледенели сверху донизу, за исключением небольших мест около свинцовой оправы, где проникает воздух. Я вынужден был снова разрушить результаты кропотливой работы, чтобы в комнате не возникло ложного ослепляющего света. Мой совет, итак, таков: или не затыкать внешнее окно, или произвести попытку с одним окном, которое напротив печи. Поскольку я одиннадцать лет исправно выполнял свои обязанности, не перепоручая службы кому-то другому, в ближайшее воскресенье я бы тоже хотел проповедовать сам, а сегодня защитить уже простуженную грудь от проникновения холода. Если я не подхвачу что-то вроде гриппа (поскольку мои сегодняшние телесные ощущения очень напоминают те, которые у меня были в марте

при гриппе), то в понедельник до обеда я почти за честь подробно побеседовать с Вашим благородием и ещё раз уверить Вас в моем безграничном уважении и глубочайшем почтении, с которым я и остаюсь,

*покорнейший слуга
и поклонник Вашего благородия,
Васянский*

*Кёнигсберг,
19 декабря 1800*

**ФРАГМЕНТ ИЗ СОЧИНЕНИЯ Н.М. КАРАМЗИНА
«ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»**

Кёнигсберг, июня 19, 1789

Вчера в семь часов утра приехал я сюда, любезные друзья мои, и стал вместе со своим спутником в трактире «У Шенка».

Кёнигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов в Европе, будучи в окружности около пятнадцати верст. Некогда был он в числе славных ганзейских городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река Прегель, на которой он лежит, хотя не шире 150 или 160 футов, однако ж так глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается около 4000, а жителей 40 000 – как мало по величине города! Но теперь он кажется многолюдным, потому что множество людей собралось сюда на ярманку, которая начнётся с завтрашнего дня. Я видел довольно хороших домов, но не видал таких

огромных, как в Москве или в Петербурге, хотя вообще Кенигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы.

Здесь гарнизон так многочислен, что везде попадаются в глаза мундиры. Не скажу, чтобы прусские солдаты были одеты лучше наших; а особенно не нравятся мне их двуугольные шляпы. Что принадлежит до офицеров, то они очень опрятны, а жалованья получают, выключая капитанов, малым чем более наших. Я слышал, будто в прусской службе нет таких молодых офицеров, как у нас; однако ж видел здесь по крайней мере десять пятнадцатилетних. Мундиры синие, голубые и зелёные с красными, белыми и оранжевыми отворотами.

Вчера обедал я за общим столом, где было старых майоров, толстых капитанов, осанистых поручиков, безбородых подпоручиков и прапорщиков человек с тридцать. Содержанием громких разговоров был прошедший смотр. Офицерские шутки также со всех сторон сыпались. Например: «Что за причина, господин ритмейстер, что у вас ныне и днём окна закрыты? Конечно, вы не письмом занимаетесь? Ха! ха! ха!» – «То-то, фон Кребс! Все знает, что у меня делается!» – и проч., и проч. Однако ж они учтивы. Лишь только наша француженка показала, все встали и за обедом служили ей с великим усердием. – Как бы то ни было, только в другой раз рассудил я за благо обежать один в своей комнате, растворив окна в сад, откуда лились в мой немецкий суп ароматические испарения сочной зелени.

Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Малербранша, и Лейбница, и Юма и Боннета, – Канта, которого иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, то есть всё сокрушающий Кант.

Я не имел к нему писем, но смелость города берёт, – и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить моё почтение Канту». Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем; не многие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загроздить магазин человеческой памяти; но это у него, как немцы говорят, дело постороннее. Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека; и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застаёт нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку всё, чего желает, но он в ту же минуту почувствует, что это всё не есть всё. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придёт конец жизни моей, ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях, которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия, но, представляя себе те случаи, где действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о

нравственном законе: назовём его совестью, чувством добра и зла – но они есть. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно. – Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив всё, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, глазами увидели её? Если бы она нам очень понравилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: авось там будет лучше! – Но, говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие Всевечного Творческого разума, всё для чего-нибудь, и всё благо творящего. Что? Как?.. Но здесь первый мудрец признаётся в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаёмся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное». – Почтенный муж! Прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои! Он знает Лафатера и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, – говорит он, – но, имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит магнетизму и проч.» – Коснулись до его неприятелей. «Вы их узнаете, – сказал он, – и увидите, что они все добрые люди».

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: «*Kritik der praktischen Vernunft*»⁴⁰ и «*Metaphysik der Sitten*»⁴¹ – и сию записку буду хранить как священный памятник.

Вписав в свою карманную книжку моё имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; потом мы с ним расстались.

40 «Критика практического разума» (нем.).

41 «Метафизика нравов» (нем.).

Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около трёх часов. – Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Всё просто, кроме... его метафизики.

Здесьняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из маркграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. «Где вы, – думал я, – где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего – подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, – чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов». – Я мечтал около часа, прислонясь к столбу. – На стене изображена маркграфова беременная супруга, которая, забывая свое состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! – Там же видно множество разноцветных знамён, трофеев маркграфовых.

Француз, наёмный лакей, провожавший меня, уверял, что оттуда есть подземный ход за город, в старую церковь, до которой будет около двух миль, и показывал мне маленькую дверь с лестницею, которая ведёт под землю. Правда ли это или нет, не знаю: но знаю то, что в средние века на всякий случай прокапывали такие ходы, чтобы сохранять богатство и жизнь от руки сильного.

Вчера к вечеру простился я с своим товарищем, господином Ф*, которого приязни не забуду никогда. Не знаю, как ему, а мне грустно было с ним расставаться. Он с француженкой поехал в Берлин, где, может быть, еще увижу его.

Ныне был я у нашего консула, господина И*, который принял меня ласково. Он рассказывал мне много кое-чего, что я с удовольствием слушал; и хотя уже давно живёт в немецком городе и весьма хорошо говорит по-немецки, однако же нисколько не обгерманился и сохранил в целости русский характер. Он дал мне письмо к почтмейстеру, в котором просил его отвести мне лучшее место в почтовой коляске.

Вчера судьба познакомила меня с одним молодым французом, который называет себя искусным зубным лекарем. Узнав, что в трактир «к Шенку» приехали иностранцы, – ему сказали – французы, – явился он к господину Ф* с ношею комплиментов. Я тут был – и так мы познакомились. «В Париже есть мне равные в искусстве, – сказал он, – для того не хотел я там остаться, поехал в Берлин, перелечил, перечистил немецкие зубы; но я имел дело с великими скрягами, и для того – уехал из Берлина. Теперь еду в Варшаву. Польские господа, слышно, умеют ценить достоинства и таланты: попробуем, полечим, почистим! А там отправлюсь в Москву – в ваше отечество, государь мой, где, конечно, найду умных людей более, нежели где-нибудь». – Ныне, когда я только что управился с своим обедом, пришёл он ко мне с бумагами и, сказав, что узнаёт людей с первого взгляду и что имеет уже ко мне полную доверенность, начал читать мне... трактат о зубной болезни.

Между тем как он читал, наёмный лакей пришёл сказать мне, что в другом трактире, обо двор,

остановился русский курьер, капитан гвардии. «Allons le voir!»⁴² – сказал француз, спрятав в кармане свой трактат. Мы пошли вместе – и вместо капитана нашёл я вахмистра конной гвардии, господина ***, молодого любезного человека, который едет в Копенгаген. Он ещё в первый раз послан курьером и не знает по-немецки, чему прусские офицеры, окружившие нас на крыльце, весьма дивились. В самом деле, неудобно ездить по чужим землям, зная только один французский язык, которым не все говорят. – В то время, как мы разговаривали, один из стоявших на крыльце получил письмо из Берлина, в котором пишут к нему, что близ сей столицы разбили почту, зарезали постиллиона и отняли несколько тысяч талеров: неприятная весть для тех, которые туда едут! – Я пожелал земляку своему счастливого пути.

В старинном замке, или во дворце, построенном на возвышении, осматривают путешественники цейхгауз и библиотеку, в которой вы найдёте несколько фолиантов и кварталтов, окованных серебром. Там же есть так называемая Московская зала, длиною во 166 шагов, а шириною в 30, которой свод сведён без столбов и где показывают старинный осьмиугольный стол, ценою в 40 000 талеров. Для чего сия зала называется Московскою, не мог узнать. Один сказал, будто для того, что тут некогда сидели русские пленники; но это не очень вероятно.

Здесь есть изрядные сады, где можно с удовольствием прогуливаться. В больших городах весьма нужны народные гульбища. Ремесленник, художник, ученый отдыхает на чистом воздухе по окончании своей работы, не имея нужды идти за город. К тому же испарения садов освежают и чистят воздух, который

42 Пойдемте к нему! (франц.)

в больших городах всегда бывает наполнен гнилыми частицами. Ярманка начинается. Все наряжаются в лучшее свое платье, и толпа за толпою встречается на улицах. Гостей принимают на крыльце, где подают чай и кофе.

Я уже отправил свой чемодан на почту. Едущие в публичной коляске могут иметь шестьдесят фунтов без платы; у меня менее шестидесяти.

Adieu! Земляк мой Габриель, который, говоря его словами, не нашёл ещё работы, пришёл сказать мне, что почтовая коляска скоро будет готова.

Я вас люблю так же, друзья мои, как и прежде; но разлука не так уже для меня горестна. Начинаю наслаждаться путешествием. Иногда, думая о вас, вздохну; но лёгкий ветерок струит воду, не возмущая светлости её. Таково, сердце человеческое; в сию минуту благодарю судьбу за то, что оно таково. – Будьте только благополучны, друзья мои, и никогда обо мне не беспокойтесь! В Берлине надеюсь получить от вас письмо.



Эрегот Андреас Кристоф Васянский (1755 - 1831)

Immanuel Kant
in
seinen letzten Lebensjahren.

Ein Beytrag zur Kenntniß
seines
Charakters und häuslichen Lebens
aus
dem täglichen Umgange mit ihm,

von
E. N. Ch. Wasianski,
Diakonus bey der Tragsheimischen Kirche in
Königsberg.

Königsberg,
bey Friedrich Nicolovius.
1804.

Титульная страница первого издания книги
в Кёнигсберге, 1804 г.



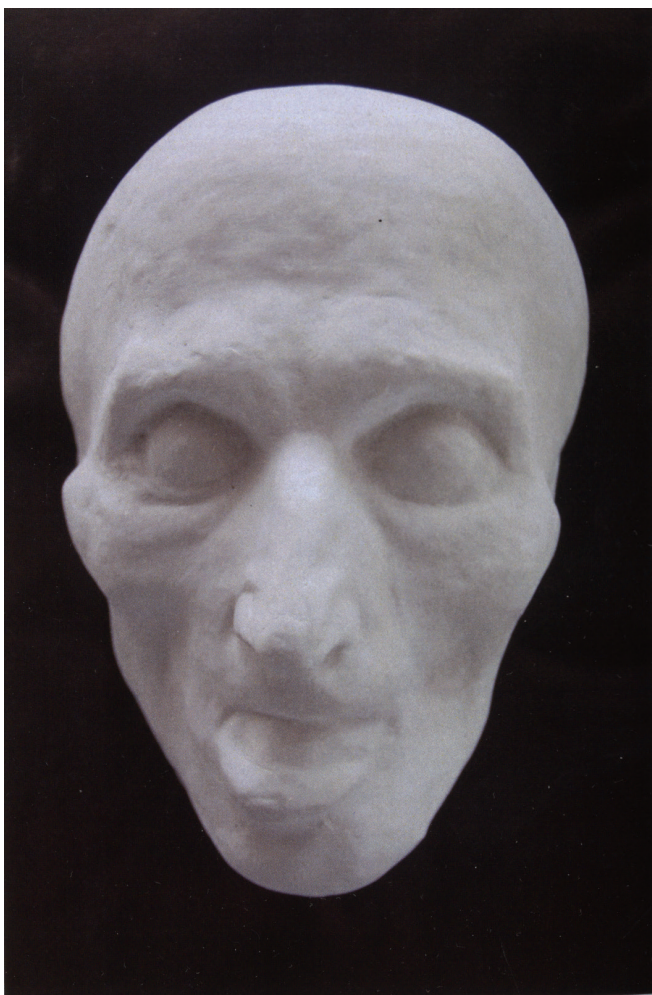
«Кант и его соотрапезники». Копия картины Э. Дёрстлингга (1892 г.)



Дом Канга в Кёнигсберге, Принцессинштрассе



Вид на Кёнигсберг (около 1740 г.)



Посмертная маска И. Канта



Последний приют великого философа. Мемориал работы Ф. Ларса (1924 г.)



Памятник И. Канту в Калининграде, копия (1992 г.)
Харальда Хааке оригинала Кристиана Даниеля Рауха
(1864 г.)

ИММАНУИЛ КАНТ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

*Сведения о его характере и домашнем быте,
почерпнутые из повседневного общения с ним
Э. А. К. Васянским, диаконом Трагхаймской
церкви в Кёнигсберге*

*Кёнигсберг,
Издательство Фридриха Николовиуса 1804*

Э. А. К. Васянский

**ИММАНУИЛ КАНТ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ**

Подписано в печать 05.11.2019

Формат 70x100/16

Бумага офсетная

Тираж 1000 экз. Заказ № 1360.

Отпечатано

в ООО «Промышленная типография «Бизнес-Контакт»

236022, Калининград, ул. К. Маркса, 18в

Телефон +7 (4012) 95-75-70

e-mail: bizkon@mail.ru

www.biz-kon.ru